





**Валентин
КОСТЫЛЕВ**



ИВАН ГРОЗНЫЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ТРЕХ КНИГАХ

**ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ**



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5
К72

Серия основана в 2007 году

Костылев В. И.

К72 Иван Грозный. Исторический роман в трех книгах. Полное издание в одном томе./— М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1054 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0663-0

В знаменитой исторической трилогии «Иван Грозный» известного русского писателя В. И. Костылева (1884 — 1950) изображается государственная деятельность Грозного царя, освещенная идеей борьбы за единую Русь, за централизованное государство, за укрепление международного положения России. Автор изображает Ивана Грозного как сына своей эпохи, с присущими ему чертами жестокости, вспыльчивости, суевериями. Одновременно Грозный выступает в романе как человек с сильной волей и характером, как выдающийся исторический деятель.

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0663-0

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010

КНИГА I
МОСКВА В ПОХОДЕ

*Дорогому
Василию Гавриловичу Гранину
и всем советским пушечного
и оружейного дела мастерам
посвящаю*

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В небе повис огненный столб над самым боярским усадьбищем.

Юродивые плясали и плакали.

Калики перехожие предрекали войну.

Монахи — конец света.

Хмурые старцы из деревенских — голод.

Поползли «ахи» и «охи». Умирать не хотелось.

Большое любопытство появилось к жизни.

И, как на грех, в вотчину боярина Колычева прискакал из Разрядного приказа человек, молодой, дородный, с быстрым взглядом, слегка насмешливым. Назвал себя посланцем царя, дворянином Василием Грязным. Явился к владельцу вотчины, боярину Никите Борисычу, и стал расспрашивать о «верстании» «сколь и кого поимянно выставит боярин своих людей в войско, коли к тому нужда явится».

Всколыхнулись деревни и починки колычевской вотчины. Азарт появился. Старики расхрабрились, — куда тут! Стали разглаговльствовать про старинные битвы. У молодежи глаза разгорелись: брала зависть, потянуло на волю, на поля бранные.

А тут еще подлил масла в огонь грязновский ямщик. Намекнул и на татар, и на Ливонию, и на Свейское государство. Ямщик бывалый, московский. Под хмельком дядя был, на слова чуден, а глазами плутоват; что наврал, что правда — разобрать трудно.

Как бы то ни было: ветром море колышет, молвою — народ; заскакало по избам колючее словечко.

Боярин темнее тучи стал. Ходит, ко всем придирается, на глаза лучше не показывайся.

Всего лишь год как царь отпустил его на отдых после брака с молодой княжной Масальской. Чего бы лучше — на старости лет пожить чинно, уютно, на усадьбе, в супружеском уединении... И вот нате! Опять война! Опять в кольчугу, в латы да шлем! Приказ, ведавший военными делами, заработал. В Москве не спят!

Крепко призадумался боярин: как быть? Какой-то дворянин-заснайка всюду нос сует, царской грамотой щеголяет. Черт его принес сюда!

Давно ли разошлись с казанского и выборгского походов? Люди и кони еще путем отдохнуть не успели, и вдруг...

Э-эх, Никита, Никита! Сыновей у тебя нет. Убьют на войне — поместье отпишут «на государя», малую часть оставят супруге твоей, Агриппинушке, а так как она неплодна, вслед за ее кончиною и та малая часть уйдет «на государя» (все себе заграбастывает!).

Вот что будет, коли пойдешь на войну; а не пойдешь, откажешься...

Опять засверлили мозг боярина слова царя Ивана Васильевича: «Жаловати мы своих холопей вольны, а и казнить их вольны ж есмь».

Князей и бояр царь ни во что ставит! Подумать только! А вот такие, неведомого рода молодцы по уездам с царскими грамотами шныряют, бояр учат!

Целый месяц гостил Грязной в вотчине, считал людей, болтал с ними, будто равный; на половину боярыни Агриппины повадился ходить, рассказывал ей про Москву, — нет в вотчине человека, с которым бы он не точил лясы, а потом уехал как-то сразу, тайком, без низких, по чину, поклонов и приветствий.

Вздумал Никита Борисыч наведаться к знахарке-вещунье, попросить ее, чтоб наколдовала «нетяжкую болезнь», на войну бы не идти. А старуха проклятая отказалась да еще крикнула: «Вижу, что умереть тебе на плахе по цареву указу!»

Можно ли снести столь великое поношение? В омуте утопил старую ведьму. Сразу полегчало. Улеглось на сердце.

И вдруг новое беспокойство. Пришел на боярское крыльцо некий бобыль Андрейка и давай вопить на всю усадьбу: «Пошто утопил старуху? Царь покарает тебя! Один у нас ныне суд — царский. Сгубить нас токмо царь может, и никто иной!»

Орет, словно ума лишился, глаза вытаращил.

Любуйся, царь-государь, Иван Васильевич! Боярин не волен над своими же людьми! Кого ты охрабрил? Холопов и злостных бродяг! Посмел бы раньше этот навозный жук слово поперек молвить? Не иначе как проклятый Васька Грязной наболтал народу про «судебник».

Никита Борисыч, как бы невзначай, старался выпросить у людей, о чем беседовал с ними Василий Грязной. Пытал, с божбою и целованием креста, боярыню Агриппину. Оказалось, Грязной спрашивал у старост: сколько земли в вотчине, что пахоты и что леса; вся ли пахотная земля обрабатывается; продает ли боярин хлеба на сторону, иль только засекает для себя да для своих крестьян? О конях расспрашивал, о сене, об овсе, о скотине...

Агриппина божилась, клялась, что московский молодец говорил с ней только о царе, о царице и о святынях. Колычев сопел, глядя исподлобья подозрительно на жену. Она краснела, смущалась.

— Сам, батюшка-боярин, допустил ты того человека в терем, супротив моей воли. Не посмела я, раба твоя, перечить тебе...

— И ты, государыня, мысль иметь свою вольна, чтобы гостя уветливым словом на доброе изволение наводить... от лукавства его отторгать, христианской добродетели чувства ему внушать... Внушала ли?

— Внушала, государь, князь мой, внушала...

Агриппина задумалась.

— Жаловался он мне, — обижают его бояре, по малости его рода, и кабы не царь, давно бы ему быть на плахе... Царь защитил его... И многих его товарищей царь-батюшка приголубил... служилых людей, незнатных, беспоместных.

Сердито насупился боярин Никита.

II

Здесь — медведь; там — человек. Солнечный свет проникает сквозь щели в овин. Горят маленькие черные глазки, в них неподвижное упорство. Человек пытается избежать их. Он смотрит на мотылька: как весело резвится в золотистой полосе солнца, играет с мухами, сталкивается с ними, ловко увертывается и ускользает из глаз.

О, эти маленькие глазки зверя!

Пахнет сосновым лесом; за стенами бушуют птичьи стаи. Тепло. Клочок синего неба проглядывает в широкую расселину над головою. Ночью буря сорвала солому.

Зверь лязгает железом, издает жалобное урчанье. Звук глухой, придушенный, ползущий из глубины, из нутра. Пасть сомкнута; шумно дышат розовые влажные ноздри; туловище покачивается из стороны в сторону.

— Лакать, чай, захотел? — тихо спрашивает прикованный к стене человек. Он молод, загорелый, широкоплечий, в белой заплатанной рубахе. Поднялся с соломенной подстилки, сутулясь, отступает к стене.

Неподвижно смотрят они друг на друга в глаза.

— Э-эх, поведал бы я тебе, как бобыль за жар-птицей охотился да и в капкан попал... Что наша доля с тобой? Хоть топись, хоть давись! И та не наша. Плохо, Тереха! Судьба дуреха...

Медведь, прислушиваясь к голосу человека, издает звук, похожий на стон.

— Не скули! Не подобает! — оживился парень, глядя в глаза зверю. — Бог терпел и нам велел... Какой ты веры, не ведаю, но и ты — божья тварь. Да и такой же, как и я, бобыль — непашеный, безземельный...

Медведь положил морду на землю, выпустил когти... сверкнули влажные белки.

— Так-то, милый! — вздохнул молодец, напрягая могучие мускулы. — Пошто нас мать родила, не выдавши дня прекрасного! На посмех людям пустила по миру!

Медведь медленно поднялся, стал на задние лапы, замер.

— Ага, слушаешь! Так вот... Живем мы с тобой, яко святые... Во узах, во тисках, в подвижничестве... Владыка наш, боярин Колычев, Сатане в дядьки записался.

Медведь заревел, грузно подался вперед. Тяжелым, едким духом пахло от него.

— Ты, идол! — попятился парень. — Сожрать меня восхотел? Э-эх, кабы на воле, сошлись бы мы... Загрызешь — тому так и быть; побит будешь — шкуру с тебя сдеру...

Часто моргая глазками и раздувая ноздри, медведь рвался вперед. Цепь натянулась, вот-вот лопнет. Зверь принялся быстро ходить справа налево и обратно, косясь одним глазом на парня.

Скрипнул тяжелый засов, раздались голоса, двери распахнулись. Окруженный челядью, в сарай вошел сам владелец богоявленской вотчины — невысокого роста, тучный, бородатый, с курчавой седеющей головой. Одет в зеленую рубаху, опоясанную ремнем. С виду скорее прасол, нежели человек знатного рода, богатый вотчинник. По всей округе прославился он своею скупостью. Позади холоп с ведром и плетями подкрался к кадушке, врытой в землю, и быстро вылил в нее мурцовку — смесь воды, хлеба, лука и отрубей. Медведь принялся жадно лакать.

Колычев с любопытством следил за ним.

— Заколите барана утресь. Пускай попирует. — Колычев осмотрел всех с самодовольной улыбкой.

Обернувшись к парню, плюнул в него. Вытаращил глаза, сказал тихо, с злой усмешкой:

— Добро быть законником! Не так ли?

— Тяжко, государь-батюшка, на цепи сидеть! Пусти на меня медведя! Дозволь учинить с ним бой, потешить тебя, добрый боярин, с супругою твоею пресветлою... Лучше сгину в том бою, нежели томиться в неволе!

Колычев круто повернулся и, сердито стуча посохом, пошел из сарая. Снова заскрипел засов.

Андрейка видел в щель, как медленно, в хмуром раздумьи, уходил на усадьбу впереди своей челяди боярин Колычев.

.....

Широкая сосновая просека ведет к боярским хоромам в два житья¹. Они обширны, бревенчаты, с башнями и многими лесенками. Узкие слюдяные окна открыты, видны ковры внутри, на

¹ Два этажа. (Здесь и далее — прим. авт.).

стенах. Извне, по бокам окон, раскрашенные светлой зеленью резные столбики, а над окнами — «петушиная резьба». Крыши, высокие, покатые, обложены дерном для предохранения от пожара. Невысокая ограда с громадными воротами вокруг хором. У ворот — сторож с дубинкой.

Никита Борисыч родовит и знатен. Прославившийся на Студеном море своей праведной жизнью инок Филипп — колычевского же рода.

Отгнав посохом зубастых псов, помолившись на икону, врубленную в ворота, Колычев проследовал к дому. На пороге опять помолвился. А в постельной горнице и того больше. Сел на скамью и молвил:

— Агриппина, псы и те учуяли, чем подуло из Москвы...

Жена кротко взглянула на него, но сказать ничего не осмелилась. Когда боярин не в духе, всякое слово не по нем. Что ни скажешь — все не так. Она знает, что ему хочется, чтобы она отозвалась на его речь. Но нет! Поддаваться не след.

В страхе съежилась Агриппина. Маленькая, худенькая, в зеленом, шелковом, с серебряной каймой летнике, в крохотном бисерном кокошнике, она выглядела совсем девочкой. Густо нарумяненные, по обычаю, щеки казались полнее, чем были на самом деле. Она опустила ресницы, боясь взглянуть в лицо мужа.

— Чего же ты? Каши, что ли, в рот набила? Чего молчишь? Ай не слышишь? Кто виноват?

Агриппина вздохнула.

— Милостивый батюшка! Уволь! Мне ли мудрить?

— Уж не забыла ли ты московского шеголя?

Колычев некоторое время смотрел на нее подозрительно. Потом самодовольно улыбнулся. Никакого лукавства в ее лице он не подметил.

— Такой случай поймет и баба, — ухмыльнулся Колычев, отвалившись к стене и широко расставив ноги. — Царем-государем, — бог с ним, — великая обида учинилась на Руси. В каждой царской грамоте видим мы свое боярское посрамление. Всех валит в одно: и бояр, и дворян, и детей боярских, и попов, и посадских людей, и пашенных мужиков — «черный люд»... «Ко всем без отмены, чей кто ни буди»... Как то понять? Требуется царь, дабы все мы в дружбе жили, «меж собой совестясь, все за один»... Как же это так? Стало быть, боярин и пашенный мужик вместе выбирать себе судей станут? Гоже ли то? А? Скажи на милость! Не обидно ли?

Для Агриппины не было ничего мучительнее, чем эти вопросы. Как ответить, когда и в самом деле она ничего не понимает в царских грамотах? Да и бояре-то плохо разбираются, что к чему. Запутались!

— Стало быть, Иван Васильевич по-божьему чинит сие управ-

ство? Стало быть, холоп, мужик и вотчинный владыка, князь либо боярин, — одно и то же? Так, што ли? Ну, отвечай! Чего же ты? О чем думаешь?

— Батюшка ты мой, государь родимый! Бабий ум короток, где ж нам? — плачущим голосом взмолилась Агриппина.

— Еретики! Лихо вам! Лихо вам! Не быть по-вашему! — крикнул Колычев, погрозив кулаком в окно.

Лицо его раскраснелось, глаза позеленели, голову он втянул в плечи, как рассерженный филин.

— Наша власть на молитве да на воинском дородстве возмужала. Попробуй, побори ее... Я здесь хозяин, — прохрипел Никита Борисыч. — Мы! А писака некий царю челобитную подал... «вельможи-де не от коих своих трудов довольствуются. Вначале же потребны суть ратаеве¹. От их бо трудов едим хлеб». Слышь, что ль? Пересветов Ивашка сунул царю противу бояр челобитную! Все учат царя, а он слушает. Не к добру то. Бобыля все одно живым я из овина не выпущу... Вон князь Данила расковал такого-то... а он в Москву, со словом на своего же господина. Худо пришлось Даниле... Объярмили боярина. Тяглом объярмили в цареву казну. Чего молчишь? Аль онемела?

Агриппина была женщиной чувствительной, любила поплакать. Это выручало.

По щекам ее поползли слезы. Она уже пролила тайком от мужа не одну слезу, только не о парне, посаженном в сарае на цепь, а о том красивом молодце, который только что уехал из вотчины опять в Москву. Он такой смелый, такой сильный и ласковый. Как же тут не поплакать?

— Чего реवेशь? Пошто жена, коли с мужем не советует? С женою доброю, советливою пригоже сходиться. Ни яства, ни пития, ни греха ради пришел к тебе. Доброй беседы ради.

В ответ на такое решительное требование Агриппина тихо проговорила:

— Не ведаю, батюшка, ничего, и не слыхивала, и не знаю, токмо от тебя одного и жду поучения, государь Никита Борисыч...

Колычев, подумав, опять остался доволен смиренным ответом жены, поднялся со скамьи, помолился на икону, поклонился, сказав: «Надо бы кончить и с этим лаптем. Пойду!»

Она ответила на поклон, а после ухода мужа села на скамью и горько расплакалась. Пропала ее молодость! Так бы и помчалась туда, в Москву, вместе с ним, с московским гостем. Приняла бы грех на себя, а там будь что будет! Ради такого красавца не худо и пострадать.

Агриппина выглянула в окно. Сосенка топорщится яркой пу-

¹ Ратаеве — крестьяне.

шистой зеленью около самого наличника, а на ветвях, словно румяные яблочки, развесились ярко-красные птички: одна вниз головою, другая вверх, а некоторые совсем кверху красным брюшком, уцепившись за сосновую шишку... Это любимая птичка Агриппины — клест. Вдали чернеет хвоя взъерошенных могучих древних кедров. Кукушка закуковала. Густой, пьянящий запах смолы пробудил в душе неясные, но приятные чувства. Агриппина вспыхнула, осмотрелась. Никого нет.

— Господи, прости меня! — прошептала со слезами.

Одна жизнь у нее — для мужа и людей; другая, глубоко запрятанная ото всех и почему-то всегда казавшаяся греховною, — для себя. Но все же верилось в то, что стоит попросить у Бога прощения, как грех снимется и ничего не будет, а на этом свете никто и не узнает, ибо есть ли тайны крепче тех, что живут в боярских теремах и остаются известными только одному Богу!

Вот почему, увидев своего мужа, удалявшегося с толпою слуг, она стала усердно молиться о себе.

.....

Никита Борисыч решил покончить с Андрейкой. Подобные вот молодцы и бывают причиною боярских горестей. Да говорят, что он больше всех шептался с тем московским человеком. Тогда берегись! Жди кистеня! Иные утекают в Москву, шляются там, болтают разные небылицы про своих хозяев, а худая молва никогда до добра не доведет, особливо в нынешнее государствование. Есть и такие, что до самого Красного крыльца добираются, бьют царю челом, жалобы приносят. То — самое опасное. От разбойников, от худой молвы оборонишься, от царского гнева — никогда!

С такими мыслями Колычев подошел к овину. Осмотрел свою челядь. Сказал, чтобы с ним остались только двое: Сенька-палач и старый приказчик Онисим.

— Ну, убирайтесь! — замахнулся плеткой он на толпу дворовых.

Стремглав бросились они бежать на усадьбу.

Выждав минуту, Колычев приказал поднять засов. Сенька, здоровенный бородатый детина с опухшими раскосыми глазами, схватил засов, поднял его...

Прямо перед ним, у раскрытой двери стоял медведь... Цепь была сорвана, тянулась за ним, как хвост.

Первым пустился бежать сам Колычев, за ним Онисим, а позади всех Сенька-палач. Медведь стоял неподвижно, наблюдая за бегущими, а потом привскочил и помчался за людьми по просеке.

Оглянувшись, Колычев завопил на всю усадьбу.

Агриппина увидела в окно мужа, карабкающегося на ворота. Через некоторое время из кустарника выскочил медведь. Агриппина, вскрикнув, замкнула сени и окна. Спряталась в темный чулан, нашептывая молитвы, дрожа от страха.

Медведь прошел под воротами, обнюхивая воздух. Увидев кур, метнулся за ними. Куры с кудахтаньем бросились врассыпную. Некоторые перелетели через частокол. Зверь неторопливо тоже перелез через частокол.

В это время во двор вбежало несколько человек с рогатинами. Двое с луками. Они пустились через двор в обход. Сидя на воротах, грозно покрикивал на них Колычев.

Медведь, встревоженный шумом, скрылся в лесу. За ним побежали дворовые.

Убедившись, что опасность миновала, Колычев с достоинством слез на землю. Обтер лоб, помолился и, тяжело дыша, побрел домой.

Сердито стал он барабанить кулаком в запертую дверь. Послышался голос: «Кто там?»

— Да отворяй, што ли!

— Бог с тобой, батюшка! На тебе лица нет! — всплеснула руками Агриппина.

— Будто не видела!.. — озадаченно взглянул он на нее.

— Ничего не видела... Ничего.

— Ты этак и своего боярина проспичь...

Никита Борисыч тяжело опустился на скамью, обтер рукавом пот на лбу.

— Уж лучше на войне помереть, нежели от лесной гадины... — промолвил он, отдуваясь, смахивая рукой репё с шаровар.

Агриппина села за пяльцы, не осмеливаясь взглянуть на мужа.

Боярин хлопнул в ладоши. Появилась сенная девка.

— Покличь Митрия... — глухо произнес он.

Она поклонилась, выбежала на волю. Дмитрий — самый близкий дворовый человек к Никите Борисычу. Ему он поручал только особо важные дела.

Боярыня недолюбливала Дмитрия: он вздумал и за ней, за Агриппиной, следить. Часто Никита Борисыч запирался с Дмитрием в своей горнице. Они перешептывались целыми часами, и, как ни старалась она подслушать их разговоры, ей не удавалось ничего разобрать. Но ей всегда казалось, что разговоры их обязательно про нее. А теперь и вовсе... грех тяжкий за спиной...

Маленького роста, коренастый, рыжий, с острою длинной бородою, очень услужливый, Дмитрий обладал необычайной силой; в кулачных боях был для всех грозюю. При Никите Борисыче он служил чем-то вроде телохранителя и пользовался большою любовью его.

Дмитрий побежал к дому.

Агриппина вышла кормить голубей на башню. Это было ее любимым занятием. Вскоре она увидела, как Дмитрий с плетью в руке быстро вышел из сторожки и побежал по просеке к медвежьему сараю.

.....

Вечером пахло скошенной травой, нагретою солнцем. Синие сумерки окутали Богоявленское. Дворовые люди боярина Колычева, утомленные бестолковой беготней по лесу и криками хозяина, лежали на куче сена в сарае, робко перешептываясь:

— Ай да Герасим! Вот те и бобылек! Что сотворил!

— Как святым духом взяты! Либо вихрем.

— На брань захотели. Супостатов крушить. Мысля такая была.

— Кому воли не хочется? Вон «хозяин»¹ и тот убег! Не стал нас ждать. А бобыли и вовсе... Чего им! На камушке родились, в круглой нищите.

Послышались громкие, тяжелые вздохи во всех углах.

— И надо же так! Крышу разобрал... Вытащил Андрейку... «хозяину» цепь обрубил. Обо всех позаботился. Улетели, что голуби... Вот и поймай их теперь!

— Игла в стог упала — знай пропала!.. Ха-ха-ха!

— О-о-ох, люди, люди! Спите! — сказал кто-то громко, с тоской. — Мы — тля! Дворы есть, пашня есть, а нечего есть. Сердечушко, братцы, горит!.. Иной раз боязно — не задохнуться бы! Так и жмет, душит. Спите! Ладно!

— Дело ясное. У курицы — и у той сердце. Сел бы и я на коня сивого и поехал бы во чисты поля!

— Кто разгадает, где они? Посылал Никита Борисыч верховых по всем дорогам, да нешто поймаешь?.. Сам пес, Митрий, гонялся, да ни с чем и возвратился... Теперь беда всем нам от боярина.

— Ничаво! Беда ум родит.

— Тише! — послышался тревожный шепот. — Не услышал бы кто. Спите!

— Звезды одни... наши сестры... не скажут!.. Святой Егорий, оборони нас, грешных... И-их, их!

Шепот стих. Клонило ко сну. В лесу кричала неясность, будто кошка; хрустели сучья под боком у сарая; может, заяц, может, еж! Их много в окрестностях... Жужжали, влетая стрелою в чердак, ночные жуки, косматые бабочки-бражники.

Огромная, пьянящая покоем тишина летней ночи брала верх. Вотчина боярина Колычева и лесные дебри погрузились в сон.

III

Московскому собору тысяча пятьсот пятидесятого года Иван Васильевич говорил: «Старые обычаи на Руси поисшатались». Царю было всего двадцать лет, а упрямства на старика хватило бы.

После того и началось. Не миновало и богоявленской вотчины. Диковина за диковиной!

¹ Медведь.

Один государев судебник что шума наделал!

Конечно, и в прежние времена в волостях полагалось выбирать мужицких старост, а на судах присутствовать «судным мужам» из крестьян, но сильные родовитые вотчинники умели обходиться и без того. Теперь попробуй, обойдись!

На московском соборе царь и об этом помянул: «Земским людям лутчим и середним на суде быть у себя не велят, да в том земским людям чинят продажи великия».

Как сейчас, перед глазами Колычева гневное лицо молодого царя, грозившего послушникам жестоким наказанием.

Прошло пять лет. Царь тверд. Он и не думает отступаться. Напротив! Тот же Васька Грязной привез в богоявленскую вотчину новую грамоту, а в ней сказано: «На волостном суде быть крестьянам пяти или шести добрым и середним». А он, Колычев, колдунью-старуху сгубил безо всякого суда, своей властью и к тому же избивал бобыля Андрейку, вздумавшего грозить царем.

«Господи, спаси и помилуй!» Бобыль утек, а с ним и Гераська Тимофеев, его дружок. Обскакали на конях, обшарили холопы все леса и поля в окружности, а беглецов так и не нашли.

Дрожашими руками держал Колычев царскую грамоту:

«Всем крестьянам Богоявленского, Троицкого и Крестовоздвиженского сел vybrати у себя прикащиков, и старост, и целовальников¹, и сотских, и пятидесятских, и десятских, которых крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею, от которых бы им обиды не было и рассудить бы их умели в правде, беспосульно и безволокитно...»

Выбранных народом в черных государевых землях целовальников и прикащиков грамота строго-настрого запрещала утверждать местным землевладельцам. «И тех прикащиков, и крестьян, и дьяков для крестного целования присылати к Москве».

«Пресвятая Богородица! Мужиков посылать в Москву! Да на кой бес они там нужны?»

Колычеву сделалось душно, словно потолок опускается все ниже и ниже и вот-вот совсем раздавит его.

— Господи! — прошептал боярин. — Да что же это такое?

Придя в себя, крикнул слуг, велел принести вина зеленчатого и заперся в одной из башенок своего дома.

Это было самое любимое место, где он уединялся со своими «неистовыми» мыслями о царе...

На обитых казанскими коврами стенах красовалось дорогое оружие прародителей: мечи, сабли с насечкою, шестоперы², усы-

¹ Целовальники — сборщики налогов.

² Шестопер — оружие вроде булавы либо кистеня. На утолщенной части — шесть перьев (железные выпуклые пластины).

паннные самоцветами, оперенные стрелы в саадаках, золоченые щиты, рогатины, шлемы, кольчуги...

— Ишь, побойчал, волчонок!.. Охрабрился не по совести!.. Узды нет!.. Все перевернул по-своему! — бессвязно бормотал боярин, опрокидывая чарку за чаркой. — Обожди! Оборвут тебе твой жемчужный хвост!

Мысли дикие, жуткие. Захотелось обратиться в черного ворона и улететь. Куда? На всей Московской земле — волоститель Иван. Улететь бы в Польшу, в Литву, в Свейскую землю. Туда, куда ушли многие именитые новгородцы...

В прежние времена был закон свободного отъезда в чужую страну, коли не поладил с великим князем, ныне и этого нельзя. Изменниками объявил царь всех «отъехавших»... А прежде то и за грех не считалось, мирно расходились. Разрешалось!

Да и на кого оставить Агриппину, землю, все богатство?

Дело сделано. Старуха убита без суда, а исчезнувшие из вотчины бобыли, как говорят, побежали в Нижний Новгород, да через него — в Москву. Буде так — от царя правда не укроется.

Колычевых род добрый, богатый, древнейший, соплеменный роду Шереметевых. Прародитель Колычева — воин доблестный и славу великую воинскими подвигами стяжал. Ныне в Москве, в своем доме, живет родной брат Никиты — Иван Борисыч. Вельможа знатный и царской милостью в изобилии украшенный. Есть и ныне доброхоты. Не послать ли к ним гонца с грамотой? Не попросить ли в грамоте Ивана Борисыча перенять мужиков?

Ой, нет! Прискорбнее не стало бы! Может, беглецы ушли на Украину, на рубежи, а не в Москву. Тогда сам на себя беду накликаешь.

Внизу, в светлице, Сеня-домрачей пел Агриппине любимую ее песню о том, как красавица-княгиня полюбила своего холопа и как Гамаюн-птица спасла от княжеского гнева и лютой казни того возлюбленного и снесла его в золотые чертоги, и как божественная Лада¹ сжалилась над тоскующей княгиней и соединила красавицу-княгиню с бывшим ее холопом, ставшим царем тридевятого царства, тридесятого государства. Никто с тех пор не мог мешать княгине любить парня, ибо он уже перестал быть холопом, сравнялся с царями и в царстве своем издал приказ в любви не разбирать званий — все одинаковы; и никто в том царстве не боялся никого, никто никому не завидовал, а жили все заодно.

На той свадьбе и я был
И мед пил,
По усам текло,
А в рот не попало, —

¹Лада — покровительница любви, брака.

с улыбкою закончил свою песню хитрущий Сеня-домрачей.

— А уж и пригож был тот парень-холоп... В очах его камень-маргерит... Из уст его огонь-пламень горит.

Струны умолкли. Сеня внимательно взглянул на Агриппину. По ее щекам текли слезы. Глаза ее были обращены к иконе. Она тихо шептала что-то. Вдруг обернулась к нему и спросила:

— Далече ли Москва? Поведай! Развей хворь-кручину, тоску мою!

— На коне — буде суток четверо, в лаптях — десять отшлепаешь... Да и кто такой? Дворянин, либо иной вольный, либо чернец — ходьба ровная, без оглядки — ходчее будет. Беглый али бродяга, не помнящий родства, дойдет ли, нет и в кое время — господь ведает.

Агриппина задумалась.

— Ну, ну, спой еще песню. Не уходи! — попросила она.

Зачесал свои длинные волосы на затылок, опять взялся за гусли курносый Сеня, вытянув шею, запел, часто моргая, под унылое брэнчанье жильных струн:

Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Хозяин-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает...

— Будя! — вспыхнула Агриппина. — Иди! С богом!

Она открыла потаенную дверку в стене и вытолкнула его вон. Домрачей был маленького роста, весь пестрый, юркий. Он живо выскользнул на улицу, торопливо пошел к воротам усадьбы. Сверху загремел пьяный голос боярина:

— Сенька! Скоморошь! Подь сюда, лукавый пес!

Домрачей опрометью пустился бежать на зов хозяина.

— Кто я? — поднявшись с места, спросил Колычев опешившего Сеньку.

— Осударь ты наш батюшка! — бухнулся он боярину в ноги.

— Врешь! Холоп я. Питуха я бесовский! Говори «да», сукин сын! Говори!

Сенька лежал на полу, уткнувшись в ноги Колычева, с удивлением следя одним глазом за боярином.

— Ну, говори! — грозно крикнул Колычев, занеся кулак над ним.

— Да!.. — тихо и страхась своего голоса произнес домрачей.

— Вон! Вор ты! Все вы воры! — испуганно завопил боярин. — Вон, ехидна! Вон! В цепь! В колодки!

Сенька ползком скрылся за дверью.

Агриппина слышала, как испуганный Сенька шлепает босыми ногами, убегая по лестнице. Она легла в постель.

Какое несчастье, что Бог не благословил ее ребенком! Нередко

по ночам ей грезится, будто рядом с ней лежит маленькое улыбающееся дитя; она его целует, ласкает. После такого сна еще хуже становилось на душе. Никита Борисыч постоянно упрекает ее: «Соромишься ты, соромишься!» Вину сваливает на нее. Но виновата ли она? Никита Борисыч говорит: «Не от человека-де зависит, зачать или не зачать», а сам бранит ее, что-де ее наказал Бог «неплодством», не его, а ее.

— Чего для оженился я? — сердито ворчал он.

Житья не было от Никиты Борисыча; укорам, оскорблениям не предвиделось и конца.

Но... теперь? Если и теперь... Ведь и впрямь провинилась она перед боярином. Было! Было! Ох! Ох! Было!

.....

Ветлужские леса. Густые заросли ельника и можжевельник; сосны, озера, топкие болота да мелкие лесные речушки, заросшие осокой. Несть числа им — извилистым, тинистым, зачастую очень глубоким. Рыбы всякой видимо-невидимо. По ночам рыси мяукают, заслышав оленя; медведи, ломая деревья, деловито снуют в чаще, чувствуют себя здесь полными хозяевами. Болот много. Не отличишь их от зеленых полян. На бархатной поверхности цветочки манят к себе, соблазняют, но горе тому, кто вздумает поверить им: засосет с головой! По ржавым зыбунам змеи ползают с кочки на кочку. А на лесных озерах, в тростниках, беспечно дремлют дикие лебеди, перекликаясь с пухлыми лебедятами, да бобры греются на солнышке, высунув из воды свои мокрые, прилизанные спины.

В теснине лесных троп темно, сыро; пищат комары, горбятся, впиваясь в тело. Никак не отобьешься! Ежи свертываются в комки под ногами, мешают идти. Андрейка и Герасим с большим трудом пробиваются сквозь чащу, вспугивая стаи дроздов, лесных жаворонков и иных птиц. Жалобно, душераздирающими голосами перекликаются иволги.

Но страшнее всего леший. Его хохот, ауканье, свист и плач леденят душу. Ноги подкашиваются. Про него говорят, что он пучеглазый, с густыми бровями, зеленой бородой. Не дай бог с ним встретиться!

Особенно жутко в сюземах — любимое место нежити, самые глухие, непроходимые дебри. Тут столько лесной гнили, старых поваленных деревьев, всякой колючей путаницы и трухи, что даже лесные пожары здесь глохнут. Дойдет огонь до сюзема, опалит, очернит лесную крепость, а взять ее так и не сможет. Сила лешего сильнее огня.

Осторожно, с оглядкой, совершали свой путь через сюземы Андрейка и Герасим. Лезли через деревья и молились...

И все-таки страх перед Колычевым, боязнь погони сильнее всех иных страхов. Нет такого препятствия, которое могло бы ос-

тановить парней. Исколотые иглами, с исцарапанными валежником и порезанными осокою ногами, неудержимо движутся они вперед, к Волге. Ни одного жилища, ни одной деревеньки! Ночью — тишина, пронизывающая тело сырость и бледные, бесстрастные звезды.

У Герасима — нож. Он держит его наготове, им же пробивает дорогу. Андрейка все еще чувствует боль в руках от цепей; слаб еще он, не надеется на себя.

— Ничего! — утешает его Герасим, шествуя впереди. — Понадеемся на Дорофея — утро вечера мудренее, а придет Ларивон — дурную траву из поля вон!

Что страхи? Долой их! Лето. Июнь — розан-цвет. Самая пора быть в бегах. Поди, по всем дорогам на Руси тайком пробираются люди... Куда? К Волге! К Волге! Выйдешь на Волгу, все дороги там сходятся. Только бы скорее кончился этот проклятый дремучий бор!

Рано светает. Рано лес просыпается. Рано зверь приходит к ручью. Розовые зори зажигают росу.

Андрейка тоскует.

— Что о том думать, чего не придумать... Наше дело холопье, серое.

— Знаю, Герасим, да уж, видать, Бог сотворил так: шуба овечья, а душа человечья... Ничем не заглушишь, щемит в груди обидя!

— Пройдет! На войну захотел, поклялся до царя дойти, а ныне вздыхаешь! Дурень! Опомнись! Силища-то у тебя какая! Бурелом ты, а не человек. Не к лицу тебе плакаться.

После долгого пути наконец лес поредел, и блеснула залитая солнцем Волга. Широкая, спокойная, величественная.

Оба парня осенили себя крестным знаменем.

— Она! — тихо, растроганным голосом произнес Андрейка.

— Она, братец, она... Гляди, какое приволье!.. Как хорошо! Чайки, гляди, — на самой воде! Пески разметались рудо-желтые... Гляди! А там, как щиты, стоят дубы стеною над обрывом...

— Слушай, — произнес Андрейка, — мой отец... сызмала... — и, не досказав того, что хотел сказать, он крепко обнял Герасима.

— Экой ты... пусти! Ребра трещат! Чего еще — отец? Болтай тут! О себе страдай, дурень!

Андрейка собрался с силами.

— Вся жизнь, почитай, думал о Волге, так и не увидел...

— А вот мы с тобой увидели... Ну, теперь помолимся. Чего дед не видит, то внук увидит. Молись. На святой Руси авось не пропадем...

Андрейка и Герасим опустили на колени и давай молиться. Они не знали никаких молитв, да их и никто из крестьян не знал. Молились о том, чтобы не догнала их боярская погоня, дойти чтоб

благополучно до Москвы, царя бы увидеть и рассказать ему о злом боярине... Они подбирали самые жалобные слова, стараясь разжалобить Бога, чтобы обратил он свое внимание и на бедняков.

Заночевать пришлось в овраге на берегу; место безопасное — глубокая впадина, заросшая густым орешником и березняком.

Единственным человеком, который подсмотрел за парнями, оказался старый рыбак, — тощий мордвин с насмешливыми глазами.

— Аль хоронитесь? — вдруг просунул он голову сквозь кустарники.

Парни вздрогнули. Схватились за дубье.

Старик рассмеялся.

— Ого-ого-оо! Огонь без дыма не бывает. Знать, и впрямь тайное дело.

Герасим насупился.

— Помалкивай... Царево дело вершим. Слово несем.

Рыбак покачал головой: «так-так».

— А не боитесь? — спросил он и рассказал, что слышал про царя, когда царева рать возвращалась по Волге из Казани.

Княгиня Елена, мать царя Ивана, во время тягости, близ родов, запросила некоего старца юродивого, кого-де она родит. А старик тот, юродствуя, ответил княгине: «Родится у тебя, пресветлая княгинюшка, Тит — широкий ум!» В час его рождения по всей русской земле был великий гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось. «Так родился наш государь Иван Васильевич».

— Сам-то ты видел его?

— Будто видел, сынок, видел...

— Поведай толком, как то было.

Путая русскую речь с мордовской, старик рассказал:

Покорив царство Казанское, Иван Васильевич возвращался домой через Нижний Новгород. Много до той поры страдали нижегородцы от набегов казанских татар, а потому и радовались победе. Показались на Волге ладьи московского войска, затрезвонили на всех колокольнях, толпы народа сбежались на берега. Духовенство с крестами и иконами вышло навстречу царю. Едва царь сошел с ладьи, народ упал на колени, радуясь, что наступило избавление «от таковых змий ядовитых, от которых страдали сотни лет».

Два дня пробыл царь Иван в Нижнем, распустил войско, благодаря ратников за труды и подвиги, и отправился в Москву через Балахну.

Старик с гордостью поведал о том, что царь Иван полюбил мордву за верную службу. Проводниками у московского войска были мордовские люди. Особо угодил царю мордвин Ардатка. Его именем царь назвал город Ардатов. Да только ли Ардатов, — много

и других городов и сел наименовал царь. Одарил царь и проводника Ичалку.

Старик хитро подмигнул и рассказал тихо, вполголоса:

— Недалече отсюда дочку я хороню... от нашего наместника. Приглянулась она ему, и велел он ее во двор свой свести, и сказал я в ту пору наместнику, будто утопла она... моя дочка... Дали два десятка батогов и с воеводского двора согнали меня. Она тут на берегу, в земляной норе... А что дале делать, не знаю.

Парни переглянулись. Стало быть, не они одни хоронятся от людей.

— Ладно, друг! Не горюй!.. Жди правды. Двенадцать цепей правда разорвет. Далеко ли она, твоя дочь-то?

— Недалече.

Андрейка вздохнул.

Герасим пошел вместе со стариком.

В соседней лощине, в землянке, на домотканной узорчатой холстине, покрывавшей сено, лежала девушка. Услышав окрик отца, она испуганно вскочила.

Герасим с удивлением и восторгом глянул на нее.

— Вот, прими, — сказал старик, протягивая ей хлеб, — добрые люди тут, недалече от нас... Тебе послали. Пожалели.

Высокая, стройная, чернобровая (ой, вот так девка!), одета в лиловую бархатную душегрею поверх длинного белого шушпана, расшитого широкими синими узорчатыми полосами на подоле. Простой белый кокошник. Она стала против Герасима, слегка наклонив вполборота голову, так что ему не удалось уловить выражение ее лица. Тихо спросила, не оборачиваясь:

— Русский?

— Добрые люди, Охима... Не бойсь!

Дед сердито заговорил с ней по-мордовски. Она подошла к Герасиму и приветливо улыбнулась. Черные, как вишни, глаза смотрят дружелюбно; маленький рот слегка усмешливый.

— В Москву? К царю? — живо спросила она, взяв Герасима за руку. Парню стало жарко: эх, какие бывают! Тяжело вздохнул и, смутившись, ответил:

— С челобитием к царю-батюшке.

— Возьмите меня, — оглянувшись на отца, проговорила она по-русски. — Нельзя мне тут... Уходить надо.

Старик опять заговорил с ней на родном языке. Видимо, он ее журил за что-то.

— Иди, молодец, отдохни... — махнул он рукой Герасиму. — После покалякаешь.

Герасим быстро побежал по берегу к своему товарищу. Камни катились по нагорью к воде, несколько раз он цеплялся за коряги и падал, но всего этого теперь он не замечал. Волга притихла. На-

ступал теплый, синий летний вечер. Солнце опускалось за сосны. «Какая девка! Будь проклято это чудовище — наместник!»

Андрея клонило ко сну. Оставшись один, он помолился о благополучном исходе из нижегородских земель. Подстелил под голову пупин и приготовился вздремнуть.

Появился веселый, сияющий Герасим.

— Вот так дочь!.. Мордовка! Вот так чудо! Не могу я тебе и рассказать, какая! Колос наливной, ягода сада райского, не страшна с такой и мука вечная...

— Помолчи... Спать хочу.

— Андрейка! Чурбан! Она тоже в Москву... как и мы, видать, собирается.

Андрейка не отвечал. Он засыпал.

Герасим сел рядом, задумался: брать или не брать мордовку в Москву? Взять? С нею трудно будет скрываться от лихих людей, она свяжет их обоих. Не брать? Огорчишь ее, будет плакать (Герасим вспомнил ее глаза, ресницы, голос). Она может одна уйти, ее могут убить, звери растерзать... Можно ли допустить? Да и скучно будет без нее, двоим-то!

И так и этак у Герасима получалось — надо взять!

По небу широко разметалась звездная россыпь. В лугах, заглушая один другого, стрекотали кузнечики. Герасим осторожно, боясь нарушить сон своего товарища, приподнялся, прислушался. Крадучись, пробрался через кустарник на берег. Где-то поблизости в тихой воде всплеснула крупная рыба. Разбежались круги по стеклянной глади.

Старый мордвин возился на берегу около челна. Увидав Герасима, он поднялся, молча стал следить за ним, а когда тот приблизился к жилищу его дочери, старик сердито окликнул парня по-мордовски:

— Месь тива азгуньдят?¹

— Ух ты, старина, какой ты сердитый! А где дочь твоя?

— Спит она.

Сверху раздалось:

— Человек, иди!

Строгий, повелительно прозвучавший голос девушки приятно поразил Герасима. Старик замолчал и как ни в чем не бывало снова углубился в свою работу. Герасим вскарабкался по берегу к тому месту, где стояла Охима. Она взяла его за руку и отвела в сторону. Сели на большой камень над Волгой.

Теплая летняя ночь, запах скошенных трав. Далеко-далеко на той стороне Волги — тихие мерные удары колокола.

Охима рассказала Герасиму:

¹ Что тут шляешься?

— Когда царь Иван с войском шел на Казань, то в Нижегородской земле, на реке Кудьме, была вот такая же ночь, как теперь. Поставили царю в поле шатер. И только обошел он становище, как увидел, что все спят, вернулся к себе в шатер, снял с себя меч, приготовился ко сну. Но когда он молился, услышал, будто около шатра кто-то ходит. На воле увидел он обласканную луной мордовскую девушку в одной рубахе. Была она подпоясана зеленою веткой. «Что тебе надо близ моего царского шатра? Идем ко мне!» — сказал царь. Он был совсем молодой, и его улыбка была такая, что девушка с радостью вошла к нему в шатер. «Великий государь, — сказала она, — твои ближние люди, — и назвала она их всех по имени, — умыслили тебя извести. Берегись их! Два дня осталось тебе жить, коли ты их не уничтожишь». Молодой царь крепко обнял ее и облобызал. Снял с нее зеленую ветку и опоясал ее дорогим золотым кушаком.

Враги ночью подкрались к шатру, чтобы извести царя, а царева стража, укрытая в шатре, выскочила и всех перехватала.

Мордовка пошла к себе домой, в деревню, но тут братья злодеев увидели в поле эту девушку, догадались, зачем она ходила в царский шатер, и убили ее.

И когда царь узнал про то, горько сожалел о ней и велел похоронить ее по-царски. А на память будущим людям насыпать на ее могиле высокую-превысокую гору. И назвали ту гору Девичьей горой, а стоит она, эта гора, недалеко от Арзамаса.

Охима вздохнула.

— Та, бедная, которую убили и золотой пояс у которой унесли, была наша мордовская девушка, а звали ее, как и меня, Охима. И не будете жалеть вы, что пошли к царю с мордовкой... Царь знает мордву. Я правду говорю. Наш народ любит ваш народ. Наша нижегородская мордва царю служит, как и все.

Она замолчала. Волнение послышалось в ее голосе.

Небо потемнело, звезды стали ближе, ярче. Герасим сидел, очарованный Охимой, ее рассказом, летней ночью, вольной волюшкой...

Плечо Охимы прикасалось к его плечу, а кудри его шекотали ее щеки. Она не дичилась. Она рассказала ему то, о чем умолчал ее отец. Старый рыбак слукавил. Он умолчал, что Охима уже была во власти наместника, что он силою взял ее себе в наложницы и что она тоже «в бегах». Мордовские всадники похитили ее из кремлевского терема и вернули отцу. Но каждый день она со страхом ждет, что ее снова схватят воеводские холопы и увезут в нижегородский кремль.

— Эге! — вздохнул Герасим. — Вижу я, и впрямь тебе остается бежать с нами. Доколе будем терпеть, доколе будем страдать? А мы с Андрейкой и на войну попросимся. Приезжал в нашу вотчину один дворянин, много про войну говорил... смущал народ.

Охима смелая, она не похожа на прочих женщин, забитых, бессловесных. Прислушиваясь к ее мужественной речи, Герасим диву давался, как так могло случиться, чтобы такая смелая баба на Руси отыскалась. В богоявленской вотчине все бабы забитые, безгласные, а эта... Уж не оттого ли, что воеводской наложницей была? Как не пожалеть такую? Вот он, Герасим, ее обнял и поцеловал, и она не противится, притихла, такая теплая, ласковая...

А как она говорит о своих соплеменниках, с каким огнем в глазах осуждает неправду, чинимую мордве холопами наместника.

Герасим думал уже теперь о том, что хорошо бы Андрейке поспать покрепче и подольше. Так приятно беседовать с Охимой наедине. Ее черные очи сверкают ярче звезд... Вот бы сесть с ней вдвоем в челн и поплыть вниз по Волге-реке. Позабыть все на свете!

Ох ты, воля моя, воля, воля дорогая!
Уж ты, воля дорогая, девка молодая...

— Пойдешь? Да? С нами пойдешь, Охимушка? — опьянев от первого же поцелуя, шепотом спросил ее Герасим.

— Зачем спрашиваешь? — прошептала Охима. — Ну что ж! Пойду! Посмотри, какая я! Не хуже вас!

IV

Много рассказов ходило в областях и на окраинах о Москве. Силу ее чувствовали на себе все в государстве. Были послушны ей.

Андрейка, Герасим и Охима, однако, подходили к Москве без всякого страха, с любопытством.

Дорогою слышали они и о боярине Кучке, что в древности раскинул на берегах Москвы-реки свое усадьбище, и о великом князе Юрии, сыне Владимира Мономаха, основателе Москвы, и о Кремле, построенном в лето тысяча сто пятьдесят шестое. И будто прежде Кремль был маленьким, деревянным и назывался «детинец», а ныне стал большим и каменным.

Пока же в окрестностях Москвы, кроме темного бора, небольших поселков и отдельных домишек, ничего не было видно. Широкая дорога, обросшая ельником и соснами. Деревья высокие, столетние. Мелькают болота, раскиданные в беспорядке избы, копны сена на полянах, коровы, ягнята...

Андрейка удивлялся — чего ради на таком низком, грязном, болотистом месте построили Москву? Сосен да елей, можжевельнику что хочешь и в других местах, и комаров тоже.

Но вот лес кончился, слава богу! Дорога пошла по открытому месту в гору; на взгорье — ветряная мельница, поодаль — кучка бревенчатых домиков, деревянная остроконечная церковь. Начались посадки.

— Стойте! — сказал Герасим. — Помолимся, и айда на гребень. Помолитесь. Осмотрелись кругом — ни души. Осторожно взошли на гребень, внизу — река! Быстрая, неширокая.

— Вот те и на! — вздохнул Герасим. — Где же Москва?

Охима рассердилась:

— Всю дорогу ноете... Эх, и послал же мне шайтан вас!

— Не ты ли сама, язычница, на грех нас навела? Кабы не твои глаза, не пошли бы мы с тобой. Шла бы ты одна, — сказал с досадою Герасим.

Охима посмотрела на него полусердито, полуушмешливо.

Полдень. На реке тихо-тихо. По брюхо в воде бродит теленок, подняв морду, проглатывает воду, обмахивается хвостом. Андрейка быстро разделся, сбегал вниз и бросился в реку. Герасим помялся-помялся, да и за ним. Охима отошла несколько в сторону, хотя и не было ничего зазорного в том, если бы и она разделась тут же. Купанье повсюду было общее. Охима тоже разделась и стала купаться.

Разбивая руками и ногами воду, она отплыла на середину реки, стала на дно. Сквозь прозрачную воду виднелись многоцветные камни и ракушки.

Громко и бедово запела Охима по-мордовски:

Если смотреть на меня спереди,
Я как сильный хмель,
Если смотреть сзади,
Я крутая-прекрутая гора,
Место для игры солнца.
Если смотреть с правой стороны —
Я хорошая кудрявая береза,
Место для игры белок.
Если смотреть с левой стороны —
Я широкая, ветвистая липа,
Место для посадки пчел.

Оборвав песню, девушка весело рассмеялась тому, что она только одна понимает слова этой песни. Ее окликнули Герасим и Андрейка. Она с сердцем отвернулась. В ее мыслях молодой дородный Алтыш Вешкотин, лихой наездник. Одарили его подарками царские воеводы под Казанью и увели с собой невесту куда! Алтыш дал слово Охиме, Охима ему — любить друг друга вечно. Свадьба расстроилась, увели Алтыша. Вот о чем хотела говорить с царем Охима. Герасим и Андрейка не должны знать этого. Пускай думают, что думают. Она свою тайну ни за что не выдаст.

— Гляди, и не смотрит на нас, и не откликается, — вздохнул Андрейка.

— А на што тебе? Смотри, Андрей, остерегись!..

Герасим сердито покосился в его сторону. Тот сделал вид, что ловит стрекозу.

— Ну, ты, еретичка! Негодная! — приговаривал он, подпрыгивая в воде, а сам украдкой поглядывал на Охиму.

Она переплыла на ту сторону, отвязала челн, приткнувшийся к берегу в осоках, и повела его к тому месту, где разделась. Андрейка рванулся за стрекозой, полетевшей именно в сторону Охимы.

— Лови!.. Лови!.. — крикнул он испуганно.

Герасим со злом толкнул его в спину так, что Андрейка скрылся с головой в воде. Отдуваясь, он обернулся к Герасиму и проворчал обиженно:

— Э-эх, помешал ты!.. Улетела! Не поймал!

Охима стояла во весь рост на берегу и смеялась.

— А ты вот что... Думай, как с царем встретиться. Останутся ли после того головушки у нас на плечах? А куда не след — не кось!..

— Ладно. Знаю я, — махнул рукой Андрейка. — Господи! Господи! Согрешишь с вами!

Все трое быстро оделись.

Вскоре переправились в челне на ту сторону. Здесь встретили толпу ребят — шли купаться.

— Какая река? — спросил Герасим. — И скоро ль Москва?

— Река — Яуза... Москва тут и есть... Вон, глядите! Аль слепые?

Сквозь деревья открылась чудесная картина раскинувшегося на холмах златоглавого Кремля с его дворцами, зубчатыми стенами, соборами, башнями, а вокруг большое пространство, застроенное бревенчатыми домами и церквами, утопавшими в зелени.

Очарованные видом громадного города, нижегородцы долго молча любовались им.

— А где бы нам тут батюшку-государя увидеть? И что тут впереди, за этим забором? — спросила Охима.

Самый старший мальчуган бойко ответил:

— Слобода, а вона — Китай-город, а уже тот — Кремль... В нем и есть дом государя. А вы кто же будете?

— С Волги мы... Издалеча.

Диву дались путники. Таких бойких, разговорчивых ребят в Нижнем, да и в Заволжье, не увидишь.

— Ну, Бог спасет! — низко поклонился ребятам Герасим.

Двинулись дальше.

Слобода ширилась; строений становилось все больше и больше, а вокруг них огороды и пустыри; такие же мужики и бабы, как и в Нижнем. При встрече отвешивают низкие поклоны, оборачиваются, смотрят вслед.

Впереди — высокий вал, бревенчатые стрельницы; в конце дороги — решетка, она поднята; страж, обняв бердыш, стоит тут же,

на траве, у подошвы вала, дремлет. Герасим, Андрейка и Охима проскочили в ворота и, утопая в высокой траве и кустарниках, пошли мимо больших, богатых хором дальше.

— Москва! — в волнении перекрестился Герасим, оглядывая красивые каменные стены с бойницами. Перекрестился и Андрей. Охима с любопытством на них посмотрела.

На широкой дороге поскрипывали телеги, а около обоза тихо следовали верховые. Трудно разобрать: не то татары, не то еще какие-то. В косматых шапках, в цветных штанах, обвешанные оружием, они невольно внушали страх всем попадавшимся им навстречу. На поклоны не отвечали.

Слышен был благовест многих церквей, говор толпившихся у кабаков людей, звуки свирели. Нарядные хоромы мешались с мелкими бревенчатыми избенками; некоторые из них были курные, срубленные прямо на подзавалье, с волоковыми окнами под потолком для пропуска дыма, похожими более на щели, чем на окна. На крышах кое-где торчали деревянные дымницы. Из подворотен выбегали псы. Андрейка отгонял их дубиной, оберегая Охиму.

— Э-эх, кабы теперь поспать! — громко вздохнул он. — Гляди, с меня уж и лапти слезают. Пожалей меня, Охимушка!

Усталость давала себя знать, и лапти в самом деле пришли в негодность. Одежонка тоже поизносилась. Правда, Охима несколько раз в дороге стирала рубахи и онучи себе и парням, но от того ведь одежда не станет новее.

Большие и малые деревянные дома кое-где стояли укрывшись в палисадниках и в серебристых березовых рощицах. В тенистых местах блестели большие лужи, похожие на пруды. В них копошились утки с утятами. Медленно и сонно плавали гуси и лебеди. Мальчишки шумели, ловя лягушек. По сторонам — поля, всполья, пески, пышные, зеленые, усеянные яркими цветами луга.

Почти у каждого пятого дома под боком ютилась часовня. И всюду бесчисленное множество колодцев, «журавлями».

Прыгая через канавы и лужи, путники подошли вплотную к высокой кирпичной стене. Внизу, у подошвы ее, лежали козы, псы и бродяги.

Герасим спросил волосатого человека с подбитыми глазами, где пройти в Китай-город.

Волосатый плюнул, гадко изругался, покраснел от злости и ничего не ответил.

Из кучи тряпья донесся бабий голос:

— Ищи дыру в ограде под Миколой... Блажной! Нищий!

Псы затаивались, взбеленились.

Герасим нащупал нож. Бродяги лениво повернули головы в сторону Охимы. В их глазах было мутно, невесело. Однако язык шевельнулся, чтобы сказать непотребное.

Андрейка шепнул Герасиму:

— Кабы теперь шестопер... почесал бы я их.

— Умолкни! — сурово отозвался тот, покосившись с тревогой в сторону бродяг.

Ускорили шаг. Дошли до каменной башни со сводчатыми воротами и, пройдя их, очутились на тесно застроенном месте. И справа, и слева лари, часовни, церкви. Деревянная, из бревен, мостовая. Вдоль стены ходят стрельцы, в железных шапках, в красных кафтанах, с пищальями в руках. Молча следят за проезжими и прохожими.

— Устал, други! — вздохнул Андрейка. — Никак не пройдешь ее. Вот так Москва! Велика и богата, не как у нас, в Нижнем...

Герасим опять: «Молчи, держи язык за зубами».

Андрейка надулся. Первый раз за всю дорогу обиделся на Герасима. Охима — на стороне Андрейки. Она стала замечать, что Герасим зря нападает на товарища, к делу и не к делу ворчит на него. Девичье чутье ей кое-что подсказало. Ей стало жаль Андрея.

Улицы постепенно становились чище и оживленнее. На каждом перекрестке столб с иконой, а около него нищие, дети, голуби. Сновали метельщики, прихорашивая деревянные мостовые, поднимали тучи пыли, вспугивали голубей и ворон. За канавами по бокам дороги вытянулись длинные ряды лавок, харчевен. Пахло паленым мясом, салом и рыбою.

Конные стражники разгоняли плетью толпы кабацких ярыжек, пьяниц, любителей поиграть в зернь¹.

Чем ближе становился Кремль (уже ясно были видны широкие золоченые купола соборов и башен), тем больше стало попадаться воинских людей, особенно стрельцов. Монахи бродили по улицам робко, с опаской оглядывались и поминутно крестились.

Царь строго-настрого повелел приставам и стрельцам следить за монахами, чтобы «не чинили поруки уставу Стоглавого собора² и не предавались бы пьянственному питию и вину бы горячему». Даже сквернословить было запрещено. А ходить нагими, мыться вместе с бабами и вовсе каралось плетью.

В Китай-городе курных изб почти не встречалось. Окруженные огородами с плодовыми деревьями и ягодными кустами, высились нарядные бревенчатые хоромы. Широкие сени и выкрашенные узорчатыми рисунками лестницы. В маленькие окна виднелись зеленые изразцовые печи, иконы, кое-где развешенные по стенам сабли, доспехи...

Путники с любопытством старались заглянуть внутрь домов. Увы! Высоко, не дотянешься. Старушка-нищенка, просившая ми-

¹ Игра в кости или в зерна.

² В 1551 году 23 февраля съезд духовенства в Москве («Собор слуг божиих»).

лостыню под окнами, пояснила: в Китай-городе живут бояре, князья да богатые купцы.

А вот и Кремль! Грозный, неприступный, с высокими в несколько рядов зубчатыми стенами и еще более высокими башнями и соборами.

Вблизи Кремль совсем ошеломил нижегородцев. Думали, их нижегородский кремль — невиданное и неслыханное чудо. Ан во-на что!

Герасим и Андрейка отстукали несколько земных поклонов. Охима прошептала что-то по-своему, по-мордовски. На щеках ее заиграл румянец, словно нашла она своего любимого красавчика-Алтыша. На самом деле она стыдилась при спутниках молиться по-своему.

Обширная торговая площадь перед Кремлем, называемая «Пожаром», потому что некогда место это выгорело (Красная), была загромождена палатками, ларями, распряженными лошадьми и телегами. Пестрая толпа клекотала здесь. Гудошники, блинники, сбитенщики, медвежатники-поводыри сновали в толпе наехавших в Китай-город принарядившихся крестьян. Крики, свистки, ржанье коней, колокольный звон оглушали.

По торговым лоткам раскинуты шелковые материи, алтабасы, турецкие ткани, узорчатые ширинки, кружева. У Охимы глаза разгорелись. Она отделилась от Герасима и Андрея, остолбенела перед развернутыми кусками материи, точно околдованная. Дыхание сперло в ее груди. Глаза заблестели. Ноги будто железом скованы.

Герасим вместе с Андрейкой едва не потеряли ее из виду. Они шли к кремлевской стене, думая, что и она с ними. Оглянулись — ее нет. С трудом разыскали.

— Экая ты, чего прилипла? — заворчал Герасим, взяв ее за руку. — Идем. Да ну же! Ишь, растаяла!

Она отдернула руку, нахмурилась.

— Охимушка, не упрямься! Уйдем отсюда, — ласково погладил ее по плечу Андрейка. — Не прельщайся алтабасами...

Она не обратила внимания и на его слова.

Пришлось обоим силою оттащить ее от лотка с красным товаром.

— Да какая здоровая! Никак не сдвинешь! И чего ты там увидела? Дура! К царю идешь, забыла?

— А ты чего цапаешь? Чего цапаешь? — сердито закричала девушка; в голосе ее была досада, печаль и даже слышались слезы. Она со злом стукнула Герасима по спине.

— А может, ты потерялась бы? Одна осталась!

— И пускай! Без вас бы дорогу нашла...

Успокоившись, все трое тихо направились дальше.

Около стены глубокий ров, наполненный мутной водой.

Слепила белизна стен Кремля, освещенных ярким солнечным светом.

Налево, надо рвом — мост, ведущий в кремлевские ворота.

— Идем туда, — толкнул своих спутников Герасим.

— Не пустят, пожалуй, — почесал лоб Андрей. — Да коли не пустят, через стену полезем...

— Эка расхрабрился! Их тут три стены... Не голубь, чай! Да и через ров как переберешься?! В нем, гляди, сажен десяток с пятью буде.

Все трое вошли во Фроловские ворота¹ беспрепятственно.

В одном из кривых переулков огромного, богатого Кремля беглецы наткнулись на горбуна-чернеца, который «все знал». Он был ласков и на слова не скуп, расспросил парней — чьи они, откуда и зачем идут к царю. Андрейка поведал ему, как его мучил боярин Колычев. Чернец вздыхал, качая головою, ужасался. Назывался иноком Самуилом.

— Так будь же милостив, добрый человек, отведи нас в царевы палаты...

Лицо инока стало печальным, он тяжело вздохнул, скорбно покачал головою.

— Увы, чада мои, не легко то! Грозен наш государь-батюшка, Господь с ним! Не примет он вас, в темницу ввергнет... в железо обрядит... пытаться учнет...

Парни переглянулись. Как же так? За правду, за челобитье — в темницу?

Горбун задумчиво погладил бороду и тихо молвил:

— Ступайте, голуби, за мной. Поведу вас к доброму государю, двоюродному брату цареву, ко князю Володимеру Андреичу Старицкому... Поведайте ему горе свое, и приголубит он вас и царя Ивана Васильевича попросит за вас, горемышных.

— Ну, что ж! Веди, добрый человек, к тому доброму князюшке, к болезному заступнику, помоги нам, злосчастным.

Горбун повел их через площадь к небольшому тенистому саду. Широколиственные, могучие клены окружали богатый дворец с узорчатыми слюдяными окнами, обведенными резною отделкою.

У ворот стояла хмурая вооруженная стража в панцирях.

Горбун сказал что-то непонятное рябому усатому воину, — тот пропустил странников внутрь двора. Но только вошли они во двор, как Самуил мигом исчез, будто сквозь землю провалился.

Охима прошептала:

— Чую недоброе.

Герасим улыбнулся:

— Всего-то ты боишься! Никому-то ты не веришь!

¹ Спасские ворота.

И только что Андрейка захотел тоже посмеяться над Охимой, как их окружили вооруженные люди и плетью погнали к низкому бревенчатому сараю. Герасим и Андрейка пробовали отбиваться, но, получив сильные удары палкою по голове, притихли. Всех троих толкнули в сарай и заперли.

Ночью в темницу явился с фонарем приземистый, скуластый человек, стал допрашивать узников: кто они, откуда, на кого несут слово царю. Он слушал ответы парней, беспокойно вращая белками и кусая свои громадные черные усы.

— На Колычева?.. На Никиту Борисыча? Ах, проклятые! — злобно произнес он как бы про себя и плюнул сначала в лицо Андрейку, а затем Герасиму.

Андрей не стерпел, сорвался с места, сгреб в свои могучие объятия обидчика, повалил его, потушил фонарь. Герасим и Охима помогли парню. Надавали усатому тумачков, связали его, заткнули рот тряпкой и, закрыв дверь, тихо выбрались в сад. Засуетились, нащупывая место, где бы можно было перелезть через ограду. Но только что Герасим с товарищем очутились на воле, как в усадьбе князя поднялась тревога. Охима не успела выбраться наружу. Осталась внутри двора.

На улицу выбежала толпа сторожей в погоню за парнями. Они бежали им в обход, размахивая бердышами.

Андрейка и Герасим принялись кричать о помощи.

Из ближайшего проулка неожиданно выскочили верховые стрельцы. Княжеская стража обратилась в бегство.

Стрельцы окружили парней. Один из всадников слез с коня и близко подошел к ним. Удивленные до крайности, Герасим и Андрей узнали в нем Василия Грязного, того самого дворянина, который приезжал в колычевскую вотчину.

Грязной расспросил их, как они из тех далеких краев попали в Москву и что с ними приключилось здесь, в царском Кремле. Герасим толково, по порядку, все рассказал и про Охиму напомнил, которая осталась во дворе князя Владимира Андреевича.

Снова вскочил на коня дворянин Грязной и повел свой отряд к воротам княжеской усадьбы. Одного стрельца оставил караулить беглецов.

Охима была освобождена из княжеского плена. Она бойко шла, окруженная всадниками, и весело смеялась.

Грязной приказал парням и Охиме следовать за ним. Через огромную кремлевскую площадь отряд двинулся к большому государеву двору.

Андрейка шел вслед за стрельцами и обтирал кровь на щеке.

— Дьявол, всю харю искарябал! — ворчал он. — Ну, уж я ему ребра помял... Жирный какой, лешай!.. Знать, балованный... Не как мы!

— Я тоже его погладил... — усмехнулся Герасим. — Куда вот теперь-то нас ведут?

— Лишь бы жизни не лишили... Погрешить охота! — вздохнул Андрей. — Повеселиться в Москве.

Охима подарила ласковый взгляд Андрею (уже не первый).

Грязной был доволен всем случившимся. Когда-то и он служил у князя Владимира Андреевича. Зная, что государь недолюбливает князя, он перешел на службу к царю, чем и доказал свою преданность Ивану Васильевичу. С тех пор он был поставлен царем как бы в охрану к князю. На самом деле обо всем доносил, что узнавал о нем, царю. И вот теперь... «Будет потеха!» — весело и озорно подсмеивался он, поглядывая на своих пленников.

V

В кремлевских хоробах царского советника, благовещенского попа Сильвестра, много цветов, много солнца, много людей, тихие разговоры.

Придет ли какой наместник, либо воевода из уезда, — тотчас же к Сильвестру; вздумает ли кто из вельмож обратиться к государю, непременно побывает у Сильвестра: «в духе или не в духе Иван Васильевич, худа бы не вышло от того челобитья?» (Кстати, не лишнее поискать и заступничества всесильного советника.) О многом толковалось у Сильвестра. Много у него было «своих людей», подслушивавших, что говорят на базарах, в церквах, в кабаках... При царском дворе у него тоже были «свои люди» — доносили обо всем, что слышно было и что делалось в царских хоробах. Особенно следили за царицей. Каждый шаг, каждое слово царицыно становились известными в этом доме. На всю Москву была знаменита «сильвестрова келья».

В этот день ее посетил один новгородский поп, с которым когда-то давно, в юности, дружил советник.

— Здравствуй, отец Кирилл! Каким ветром тебя занесло? — облобызав земляка, приветствовал его высокий, худощавый Сильвестр.

— Дорогой мой, батюшка Сильвеструшко!.. Да какой же ты стал! О господи! Десять зим тебя не видывал. Подобрел, а гляди, ряса-то... ряса... шелковая! А крест! Дай поцелую его.

Поп поклонился, облобызал крест, а кстати и руку Сильвестра.

— Такова милость Божия. Убогий пришелец из Великого Новгорода стал первым советником у царя. Тесен путь, ведущий к жизни. Всё от Бога.

Поп рыдающим голосом воскликнул, крепко, обеими руками ухватившись за руку Сильвестра:

— Да господи! Кто же того не думал? Ведь ты же у нас один та-

кой... Во смирении — удалой, в тишости — орел! Сызмала не силой ты брал, а умением... Молчал, а народ слушал тебя более глаголющих. Сильвеструшко! Родной! Дай наглядеться на тебя!

Сильвестр свысока обозревал попа с легонькой усмешкой.

— Полно, друже! Полно, смирением бо служу царю и святой церкви. В кротости — дальше от пропасти. Вспомни царя Давида и кротость его.

— Плохо мы грамотны, батюшка! Неучены. Так живем, по привычке.

— Сказывай, друже, почто прибыл в Москву?

— Истинный бог! Токмо к тебе! С поклоном.

— Чего ради? — нахмурился Сильвестр.

Поп приблизился к его уху и прошептал, сморщив от волнения лицо:

— Трепещут торговые люди! Богачества стали бояться! Москвы остерегаются... Нарядили меня к тебе: просить, батюшка, умаливать. И то уж народ новгородский приуныл... Горько и торговым людям. Волюшки им нет прежней. А тут, не дай бог, война, да еще с Ливонией. В наш край войско погонят. Испокон века наши купцы заодно с немцами. Выгоду от них имеют. Москва с ними не ладит, а наш купец ладит. Как же быть-то, Сильвеструшко, ужель ты забыл? И што будет? К добру ли то? Заступись за земляков, за торговых людей, при случае!

Сильвестр в задумчивости поглаживал свою жиденюкую бородавку. Карие пронизательные глаза смотрели на попа холодно.

— Кто подослал тебя ко мне?

— Родичи твои и земляки, премудрый Сильвеструшко! Новгородские люди прислали!

— Помни, земляк! По человечеству я — равный вам, может, и хуже вас, но... как советник великого князя, не могу я стать на одну половицу с вами, с тобой... Прискорбно видеть советнику государеву, чтоб дела его были добычею мышей. Ты меня назвал орлом, но достойно ли орлу ютиться в одной норе с мышами? И не пожрет ли он их? Со мной лукавить опасно. Не попам и гостям! новгородским пещись о судьбе царства, а Богу и великому князю. Москва супротив немцев, и новгородские гости должны также. Москва растет, и вы должны помогать ей, а не мудрить лукаво. Москва — мать городов. Уходи и помалкивай, что был у меня. Я мог бы отдать тебя на пытку... Но Бог тебе судья! Отпущу без спроса. Уходи и больше не бывай! А землякам передай: пускай одолеют алчность и гордыню!

Поп растерялся, в страхе попятился, кланяясь Сильвестру до самого пола.

¹ Гости — купцы.

— Прости, Сильвеструшко, прости! Не знал я, батюшка... не знал!

Сильвестр с укоризной в глазах покачал головой.

— Бедные! Приходят ко мне, земляками моими величаются, поминают дни отрочества, глядят мне в очи, а того не знают, что бо́льшая польза им была бы от беседы с простым смердом, нежели со мной. Я смотрю на тебя — и не вижу тебя, слушаю — и не слышу тебя. Не земляки мне нужны, а дела большой правды, коей служат сыны великой силы, люди, отрекшиеся не токмо от земляков и родного города, но от матери, отца, жены и детей. Несчастный! Передай новгородцам: Сильвестр — верный слуга московского великого князя. Нужды царства для него выше нужд кичливой толпы новгородской. Иди, я отведу тебя в чулан, там и ночуй, а завтра утресь, затемно, уходи от меня... вернись в Новгород. Бог с тобой!

Поп поклонился, почесал за ухом и с красным недоумевающим лицом, тяжело вздохнув, кротко последовал за Сильвестром.

Оставшись один, Сильвестр опустил на колени перед аналоем, на котором лежали крест и Евангелие, и принялся усердно молиться.

Постучали в дверь.

Вошел Алексей Адашев. Стройный, крепкий, высокого роста, краснощекий молодой человек. Помолился и он. Взгляд какой-то растерянный.

Облобызались.

— Ну, что поведаешь, брат?

— Войны с Ливонией не минует. Аминь!

— Ого! — покачал головою Сильвестр. — Да может ли то быть? Ужель?

— На обеде в Большой палате¹ был я... Слышал, как великий князь беседовал с казацким атаманом. Говорил он с ним о том, много ли всадников дадут казаки.

— Н-ну?..

— И тут он прямо сказал о войне... Висковатый уже и грамоту новую, мол, сготовил...

Сильвестр тяжело вздохнул:

— Лишние мы стали? Без нас обходятся? А? Мамка Агафья донесла, будто Иван Васильевич молвил: «Восхитил поп власть. Завел дружбу со многими мирскими, сдружился с Алексеем, oprичь меня именем моим править хотят... Мне же оставили токмо честь «председания»...

Адашев усмехнулся.

— Изменчивый нрав... опасный. Не пойму я государя. То весел, добродушен, то лют и несговорчив.

¹ Грановитая палата.

— Кто ныне... около него?

— Худородные дворяне оттеснили всех, да дьяки посольские... да иноземцы, да нехристи... Народу нового много нахлынуло. Вчера к трапезе званы были две тыщи татар... Шиг-Алей с ними и казаки. Напились. Песни по-своему выли.

Сильвестр остановил испытующий взгляд на Адашеве.

— Ты был?

— Был.

— Тебе неча, Алексей, роптать. Ты в чести у царя, а братенек твой Данила и вовсе по сердцу царю... большой воевода. Гнев на одну мою голову!.. Постоянно так. Найди близ царя человека, кой не осуждал бы меня ему в угожденье! Злословие стало обычаем, и кто может удержаться, чтоб не потешить царя клепом на меня? И ты... мой друг... удержишься ли? Не искусишься ли? Иван Васильевич своим приятством и лаской многих покорила... И людей моей стороны. Он умеет.

— Но, отец Сильвестр... И к тебе царь явной опалы не кажет. А кто за глаза поносит тебя, тот боится тебя, кто хвалит тебя в глаза — тот лукавит... Тебе неча Бога гневить. Ты силен!

— Чем я провинился перед Иваном Васильевичем? — продолжал Сильвестр, как бы не слыша Адашева. — Не уразумею! Буде спорим мы? А в споре каждый и прав и виноват. Он упрекнул меня, что держусь я старины, я сказал ему, что некоторые новины разрушали царства. И я первый боролся за новины, за те, кои разумнее старых, поистрепавшихся обычаев. Болею я о государстве, а не о себе. Много ли мне надо? Я не искал ни славы, ни богатства, как и ты. Чего хотим мы? Сделать сильными и царя и царство. По ночам стала сниться мне плаха, а утром я иду к нему и говорю, чтобы не забывал он своего божьего призвания. Говорю смело, угрожаю ему божьим наказанием. На его лице тоска, но я не могу скрывать того, в чем вижу правду. Не могу ради страха льстить юному владыке... Таков путь честных правителей — либо путь, ими избранный, либо темница и смерть. Мудрый человек должен огорчаться тем, что он бессилен сделать добро, но не огорчаться тем, что люди хулят его, несправедно судят о нем... И ты, Алексей, не лъсти Ивану Васильевичу, не делай тем самым худа государству.

Адашев пожал плечами, покраснел.

— Жизнь наша коротка, но в этой краткости человек может сделать свое имя вечным... Его будут благословлять отдаленные потомки... Только о том и молю я Господа Бога, чтоб прожить мне свой ничтожный век в правде, достойно и нелицеприятно. И кто упрекнет меня в лести? Кто более меня прямит царю? Да и кто может обмануть государя? Не знаю человека прозорливее Ивана Васильевича.

— То-то!

Улыбнувшись ласково, Сильвестр похлопал Адашева по плечу.

— Бог благословит тебя на добрые дела! Против Ливонской войны, видать, нам не сдержать великого князя. Как горный поток, неудержим он в своем намерении. Но мы с тобой должны взять на попечение дела не воинские, но обыденные, они важнее для нас и друзей наших, нежели ратные дела. Пускай будет царь занят войной... Запомни: излишнее стремление к достижению чего-либо одного делает человека слепым ко всему другому. Государство нуждается в нас с тобой. Будем зоркими и сильными в уездах и городах... Ну, а что князь Андрей Курбский?

— Не унимается... хочет с царем говорить... Теперь о ногайской орде. Новое задумал. С Литвой и Польшей свары боится. Не хочет. А я буду стоять в стороне. Не вмешиваться до поры до времени. Не перечить царю. Приказы его исполнять без прекословия.

Долго беседовали Сильвестр и Адашев о том, какие последствия для бояр и дворян будет иметь эта страшная война; Сильвестр высказал большое беспокойство за Новгород. Война может опять противопоставить Новгород Москве, навлечь царский гнев на тамошнее купечество, поссорить Новгород с исконными друзьями его — лифляндцами и шведами. «Да минует нас чаша сия!» — вздохнул Сильвестр.

Перед уходом Адашев сказал:

— Об одном еще хотел я тебе доложить. Приключилось неладное. Беда случилась с Владимиром Андреевичем! Стража его перехватила вчера доносчиков, беглых мужиков из колычевской вотчины, не хотят допустить их до царя, а Васыка Грязной отбил их... Государю все станет известно. Он и так косится на колычевский род. Жалко и князя Владимира... И без того уж он в опале... А эти щенки, лъстецы — Грязные, Басмановы, Вешняковы, Субботины, Вяземские, Кусковы, имя же им легион, — только того и ждут, чтоб распалить сердце царево против брата Владимира... Грязной — чистый разбойник... И в вотчину к Колычеву неспроста ездил... Подтачивает, как червь, боярский сан.

— Сия новаяленная орда дворян вся такая. Своею дерзкой удалью они неспроста тешат царя. Попомню. За Колычева постоять надо... И без того много зла кругом! Почто губить человека? Лиха беда одному поддаться, как навалится горе и на другого, и на третьего. Положим конец злобе, Алексей! Образумим царя! Изводить надо доносчиков втихомолку, без шума.

Перед расставанием Сильвестр и Адашев снова облобызались.

.....

В покоях князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана, полумрак. Неугасимая лампада едва теплится перед большим образом Нерукотворного спаса.

— И кто такие думные дворяне? — уныло, скрипуче звучит го-

лос Евфросинии, матери князя. Она совсем утонула в глубоком кресле.

Около образов, из сумрака, выступает хилое лицо самого князя. Оно бледно, глаза блестят, кажутся лихорадочными, больными.

— Такова воля его милости, Ивана Васильевича... Он ввел в Боярскую думу дворян и дьяков.

— Робок ты, Владимир, робок! — вздохнула княгиня Евфросиния. — Остановил бы его... Обида всем от него. Охрабпись!

— Был я храбр по твоему наущению в дни Иоанновой болезни... собирал бояр и детей боярских на своем дворе, денег немало роздал им, а потом... присягнули не мне, а царевичу Дмитрию... И я перед царем остался посрамленным, виноватым... Надругался над общею скорбью, слушая вас, и теперь нет веры мне... Дворяне в ту пору оказались честнее нас, честнее бояр... И теперь сильнее они, а не мы. Во все кремлевские щели набились худородные, будто тараканы... И вот в Боярскую думу влезли и там теперь сидят, как и мы. Такова царская воля... Что поделаешь! Сами мы виноваты.

— Гибнем! Слыханное ли дело, чтоб дворяне сидели в думе? — крикнула рассерженная княгиня. — Креста на них нет... Святую древность, старину дедовскую попирают они своими сапожищами... Что им старина? Что им благородство предков? Из ничтожества явились они! Кто их отцы? Кто их деды? Псарями и то недостойны были у нас служить!

Голос Евфросинии постепенно превращался в громкий, озлобленный крик, пугавший самого князя.

— Тише! — шептал он, махая на мать руками. — Тише! Погубите нас! Остановитесь!

— Трус! — прошипела старуха, утонув еще глубже в кресле. — Хоть бы король образумил этого беса!

— Король? — громко усмехнулся князь Владимир. — Вон князь Сема Ростовский хотел сбежать в Литву с братьями и племянниками... Продался Августу, открыл ему все государевы тайны, все выдал, что знал, чернил Ивана и Русь, сидя в Москве, отослал в Польшу своего ближнего — князя Никиту Лопату-Ростовского, — все делал для короля, а что после? Сами же бояре за измену приговорили его к казни... А государь, красуясь добротой, пожалел его, простил, отменил казнь. Вечный позор Семке, и только! Вот тебе и король. Опасно надеяться на Литву.

Тяжело вздохнула старуха-княгиня.

— Э-эх, как вы все близоруки! Не верю я доброте его! Хитрит он! Для показа все это. Оставляет врагов живьем для сыску же! А тебя боится. Знаю, боится!

— Чего бояться меня? — тихо засмеялся Владимир Андреевич. — У меня токмо сотня воинов, у него — все русское войско.

— У тебя друзья — все царские советники и воеводы. О тебе

Богу молятся и бояре, и священство, и черный люд; заволжские старцы, сам Вассиан за тебя, Ивана проклинает... Князь Курбский за тебя, вместе с нестяжателями¹ заодно. Многие князья за тебя, а за него кучка ласкателей-бояр, вроде Воротынского и Мстиславского, и толпа холопов — дворянская голь, подобная перебежавшему от нас к нему Ваське Грязному... да еще митрополит Макарий, выживший из ума дед...

— И все-таки, матушка, их много больше... И народ его больше знает, нежели меня.

Во время таких слов князя раздался негромкий стук в дверь. Мать и сын вздрогнули. Дверь распахнулась, и в палату вошли друзья князя Владимира Алексеевича, некогда ратовавшие перед народом за возведение его на престол вместо царевича Дмитрия, — князя Дмитрий Федорович Телепнев-Овчинин-Оболенский (прозванный при дворе Овчиной), Михаил Петрович Репнин — волосатый, свирепый человек, наводивший ужас на своих дворовых, Александр Борисыч Горбатый-Суздальский, Петр Семенович Оболенский (Серебряный), Владимир Константинович Курлятев, боярин Иван Петрович Челяднин, Телятьев и многие другие князья и бояре.

В палате стало сразу тесно и душно.

Отдуваясь и вздыхая, князья помолились на иконы, затем отвесили низкие поклоны приподнявшемуся с своего места князю Владимиру Андреевичу.

— Милость Божия да будет с вами, государь Владимир Андреевич и добрая княгиня, государыня наша, Евфросиния Андреевна! Бьем мы вам челом! — сказали князья.

Владимир Андреевич попросил своих гостей садиться. Вдоль стен на скамьях ошупью усаживались князья-бояре.

Первым заговорил князь Семен Ростовский, заговорил тихо, полупешотом:

— Государь Володимир Андреевич, обсудили мы, бояре, поведасть тебе о случившейся беде... Сею ночью царский прихвостень, Васька Грязной, со стрелецкой конной стражей отбил у твоих людей колычевских мужиков, кои утекли из вотчины со словом на своего господина Никиту Борисыча... Выходит — ты укрыватель, колычевских родичей бережешь!

Ростовский подробно рассказал о ночном происшествии.

Владимир Андреевич испуганно-удивленным голосом воскликнул:

— Мои люди? Захватили? Но я ж ничего не знаю! Кто им приказал?

¹ Нестяжатели — последователи старца Нила Сорского, восставали против монастырского землевладения и всякого иного обогащения церкви.

Общее молчание было ему ответом.

Владимир Андреевич вскочил с своего кресла и стал взволнованно ходить из угла в угол.

— Брат простил мне мою вину, отдал мне во владение Дмитров, Боровск, Звенигород, а я буду самоуправство чинить над государевыми людьми? Не вероломство ли это? Кто приказал? Я ничего не знаю!

Когда князь успокоился, стал говорить Михайла Репнин. Поглаживая широкую бороду, он метнул гневный взгляд из-под нависших бровей.

— Буде, государь! Не кручинься! Кто приказал, не ведаю, но похвалить того надобно. Живыми бы в огне сжег я таких бродяг. Бегают жаловаться на бояр в угоду дворянам и посадским сплетникам, а не чувят того, что из боярской кабалы попадут в иную, худшую... Крест целую, что оно так и будет!

— Кое мне дело до смердов! Не хочу я мешаться в боярские распри! Боюсь обмана и измены! Не вы ли все меня в цари тянули и не вы ли присягнули Ивану? Все отреклись от меня! Один я остался виноватым. Не верил я старцу Вассиану... усомнился... Говорил он мне, чтоб сторонился я Сильвестра, и Адашева, и митрополита... Правду сказал он, что все они верные псы царские... Ненадежны. Москве преданы.

Рявкнул Михайла Репнин:

— Я не отрекся от тебя! На заволжских старцев не полагайся, Вассиан ума лишился. На попах помешался.

Неуверенными голосами выкрикнули то же самое и другие бояре. Неуверенными потому, что в словах князя Владимира была большая доля правды: многие, испугавшись царя, стали сторониться князя.

Опять поднялся с своего места князь Ростовский. Тихим, вкрадчивым голосом он заговорил, подобострастно вытянув свое худое, с остроконечной рыжей бородкой, лицо:

— Плохо будет нам, коли мы сами от себя станем отречься. Ой, плохо! И со мной ведь случилось не то же ли? Писал я королю о заступничестве, меня обнадеживали, а как узналось все и я в опале оказался — никого из бояр около себя не увидел. Королю ведомо, что один князь Ростовский — в поле не воин. И выходит: нам всем надо стоять заедино. От Ливонской войны отговаривать царя не след. Пускай воюет. Немцы его проучат. При той тягости выше цена будет боярам и всем его недругам. Да и королю легче будет пригрозить Ивану Васильевичу, чтоб не возносился. А внутри царства, по уздам, мы волю можем взять большую. В том нас поддержат и заволжские старцы... И Сильвестр с Адашевым. Беседовал я с ними.

Слова князя Семена Ростовского сначала звучали укоризной, а

затем, перейдя в шепот, приняли тон увещательный. Бояре склонились с своих мест, приложили ладони козырьком к уху, чтоб лучше слышать.

Князь Владимир перестал ходить из угла в угол, внимательно вслушиваясь в слова князя Семена, который продолжал:

— Литва вам зла не желает... Тамошние вельможи-магнаты подобной тесноты и поругания не видавали и не слыхивали... Король обещает и всем нашим отъехавшим боярам и князьям великие угоды и вотчины и почет высокий. Мой родич Лопата-Ростовский о том мне весточку тайно прислал. Живется ему там много лучше, нежели на Руси. И он пишет, чтоб никто царя не отговаривал от войны с Ливонией, а помогли бы Ивану Васильевичу в его походе, — то будет к лучшему... Где же нам справиться с немцами? Силы!

После этих слов Семена Васильевича долго длилось всеобщее молчание. Где-то раздался шум. Все вздрогнули, опять переполошились.

Первым подал голос Михайла Репнин.

— Будь что будет! — махнул он рукой с усмешкой, причмокнув. — Война Ивашке даром не пройдет!

— Не робей и ты, князюшка, — донесся ободряющий голос Евфросинии, — Бог правду видит. Он, батюшка, долготерпелив, но придет время — разразится гроза... Истребит, кого следует... А почему среди бояр не вижу я Андрея Михайлыча?

Ответил князь Курлятев:

— У Сильвестра он с Адашевым сегодня. Дело у них тайное. О ногайском походе задумали. Готовятся к беседе с царем. Андрей Михайлыч другую войну выдумал... В степях воевать, у Крыма и Перекопа.

Ростовский вскочил, перебил Курлятева:

— Не гоже так! Не надо! Пускай Ливония!.. Она сильнее! Я пойду к отцу Сильвестру, остановлю их.

— Степная война того губительней! Не надо Ливонии!

Разгорелся спор, во время которого Владимир Андреевич то и дело вскакивал и в отчаянии махал руками.

— Тише! Тише! Худа бы не было!

Разошлись в полночь, поодиночке, крадучись.

.....

В заточеньи, в глухой монастырской келье, где единственные сожители человека — пауки и крысы, можно много думать, неторопливо перебирая четки из рыбьих зубов. Куда торопиться? Зачем? Пускай там, за решетчатыми окнами, идет жизнь торопливая. Пускай! Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья,

тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит с себя великие страхи перед земными страданиями.

Сгорбленному, седому старцу, которому никогда не суждено быть свободным, никогда уж не разгуливать по кремлевским площадям, никогда не бывать в царевом дворце и не собирать, как встарь, около себя народ горячими, словно уголь, палящими сердце словами, ему, обреченному на смерть в монастырском каземате древнему, столетнему иноку, жаль человечество. Он считает себя счастливее самого юного отрока.

Как путник, преодолевший трудный путь восхождения на вершину высокой горы, он оглядывается с улыбкой назад, туда, вниз... Все пройдено! Путь кончается! Он знает каждый перевал, каждую тропинку этого пути, он знает, какие острые камни ранят ноги, знает землю, которая, если на нее твердо ступить, увлекает путника в пропасть, откуда нет возврата. И только ему ведомо, добравшемуся до этой загадочной вершины, что такое радость, горе, счастье, честь и слава; он знает больше того! С грустной улыбкой смотрит он на все Московское государство, на его бояр, на священнослужителей — князей церкви, на воевод и всякие чины служилых людей.

Государство, как и человек, должно идти осторожной ногой по тропам вселенной, чтоб не уподобиться Византийскому царству, которое соскользнуло в пропасть. Царьград пал от меча пришельцев-турок... Рушилось греческое православие!

Москва! Подумай об этом! Иди без гордыни по своей тропе! Ныне тебе сулят стать Третьим Римом. Московский государь хочет принять престол римских кесарей... Дело великое, но Бог выше царей... Не забывай о том, Иван Васильевич! Не гордись! Подумай, достоин ли ты стать на место великого Константина! И зачем тебе Третий Рим? Не слишком ли ты возвеличиваешь Москву?

Во дворцах не могут рождаться такие беспристрастные мысли, какие бродят в голове сидящего в темничной келье, ожидающего своей кончины старца.

Знает он и о том, что такое власть. И он пил этот пьянящий напиток. Он хорошо помнит его сладость. Видел он владык, их слабости, их ничтожество. Его не привлекают великокняжеские милости, ибо видел он их! Вкусил их обманчивую сладость! И когда захотелось восстать против неправды... эта неправда оказалась сильнее его. Она бросила его в тюрьму, но не затушила огня злобы к противникам... Горе защитникам неправды!

На желтом, сморщенном лице старца суровое упрямство. Он ни у кого ни разу не просил снисхождения, он презирует жалость. В его старческих движениях мягкая грация уверенного в своей силе вельможи, который вот-вот выпрямится, отбросит на затылок копну длинных седых волос, вытянется во весь рост и властной ру-

кой укажет всем своим недругам, чтобы они распластались у его ног. Из-под нависших седых пучков выглядывают бодрые, насмешливые голубые глаза. Кто же поверит, что этому старцу столько лет?

Да, он был вельможей, он — узник старец Вассиан. Это он вступил в спор с Иосифом Волоцким, игумном Волоколамского монастыря, тянувшим церковь под стопу государя, это он восстал против монастырских богатств, монастырского землевладения... Он поднял великую бурю в государстве, и за ним пошла толпою боярская знать. Бояре на память выучивали его писания, ведь они также за то, чтоб у монастырей не было вотчин. Вотчины — достояние только князей и бояр. Не к лицу инокам гоняться за землями и усадьбами, как это делают царские прислужники — иосифляне. Благословенна память старца Нила Сорского, великого нестяжателя!

Вассиан знает, что имя Нила Сорского стало страшным.

Чем сильнее становится власть царя, тем страшнее для людей и его, Вассиана, имя.

От него уже давно отреклись в угоду царю все его родные и друзья, и он молится каждый день о них, прося у Бога им прощение за их малодушие, за грешную трусость.

И вот однажды в сумраке, когда за окном спускался вечер и когда только что возжег старец свой светильник перед иконою Нерукотворного Спаса, в келью тихо вошел царь Иван Васильевич.

Он ласково взглянул на старца, подойдя к нему под благословение. На нем был зеленый длиннополый кафтан и красные с золотыми узорами сапоги на серебряных подковах.

Вассиан не шелохнулся. Царь поднял голову, выпрямился.

— Не хочешь? Ну, бог с тобой! — улыбнулся он. — Вот вздумалось мне, старче, побывать у тебя, соскучился я по мудрому слову, — тихо произнес Иван Васильевич, усаживаясь на скамью. — Давай совет держать.

— Чего ради великому князю с мертвецами советовать? Инок мертв, а сидящий в темнице и того горше.

— Почто порочишь иноческий чин? Издревле владыки не только советниками иноков имели, но и помощниками в государственных делах. И по сей час все мы читаем писания Иосифа Волоцкого, митрополита Данила, Максима Грека, Макария, нашего духовного отца и твои...

— Писаний много, но не все божественны суть. Иосифляне борются с нами, заволжскими старцами, не ради господней правды, не ради выгоды, ради стяжательства. Не только царь, но и черный люд, смерды, повинны перед Богом разбираться: кая — заповедь божия, кое — отеческое наставление, кое — человеческий обычай, корыстью подказанный. Писание надо испытывать...

Глаза старца, холодные, непокорные, сверкали из-под густых седых бровей гневно.

— Евангелие и Апостол правдивы суть. Найди же там, где указано было монастырям, чтоб инокам и церковнослужителям владеть вотчинами?

Царь поднялся, почти прикасаясь головою к потолку, тяжело вздохнул и, как бы напрягая память, потер ладонью лоб.

— Евангелие и Апостол — для души, — промолвил он, — много там, однако, не сказано. То самое земные владыки и их духовные отцы должны досказать... Христова вера без власти — что есть? И ныне, при падении византийского владыки, московскому государю надлежит стать опорой церкви. Разве неведомо тебе, что немцы да их попы возымели спесь Христовым именем и мечом все славянские племена в своих рабов обратить? Себялюбие и жадность их, прикрываясь святительской проповедью, покоряют славянские земли хищным аломанским¹ князьям... Христианство без меча подобно мотыльку без крыльев... И церковь Божья, коли в бедности станет да от власти отойдет, — может ли она заморским попом помешать в их еретическом захвате?.. Немецкие попы да князья и к нам змею подползали в прошлые времена, и до сего дня лютуют они на побережье Западного моря и обращают в свою веру латышей да эстов... И не они ли Христовым именем истребили славное племя полабских славян и воинственных ливов? Церковь и царь — сила!

Лицо Ивана покрылось красными пятнами, в голосе звучали досада и раздражение.

— Вам, проповедникам нестяжательства, многое неведомо: вы — более себялюбцы, нежели иноки-стяжатели, вотчинновладельцы... И в Заволжье ушли от мира и прячетесь в скитах и дебрях во имя себялюбия. Истинный священнослужитель не может удаляться от тягостей царства, в коем его церковь. Не может не почитать государя и не принять из рук его дары земные, ибо царь — защита веры, царь — божий воевода на земле. Вы не любите своей отчизны.

Вскочил с своего места и старец. Громко выкрикнул прямо в лицо царю:

— Пастыри должны до смерти стоять за правду! Государь не судья в духовных делах! Дело духовное — дело совести! Не жить на чужой счет должны Христовы подвижники, а питаться трудом рук своих! Изыми вотчины у монастырей, заставь их Богу молиться за тебя без выгоды!.. Обманывают они своими молитвами и Бога и тебя!

— Уймись, старче! Смири свою гордыню. Перед тобой стоит твой государь. Садись!

¹ Германским.

— Коли так, могу ли я садиться прежде, нежели сядет царь? — упрямился старец.

— Опомнись, Вассиан! Будто бы тут келья, а не Боярская дума... Не забыл еще ты мирских обычаев. Добро, друже! Будь по-твоему — сяду!

С этими словами царь сел на скамью.

Сел и старец.

— Ответствуй, правдивый человек: коли я послушаю тебя и отниму у монахов и бельцов их владения, не ополчатся ли в ту пору они на меня?

Наступило молчание. После некоторого раздумья старец сказал:

— Ополчатся, ибо они — хищные стяжателя, себялюбцы. Ради выгоды славят тебя.

— Подумай, добрый пастырь, где же христианскому царю искать опоры, коли заволжские пастыри откачнулись от царя да коли иосифляне откачнутся от него же? И кто ж будет венчать русских владык на самодержавное царство? Кто будет оборонять их власть?

Растерянная улыбка сменила злость, бывшую до сего на лице старца.

— В Византийской империи патриарх не подчинялся императору... Церковь была свободна от воли государя... — громко, самоуверенным голосом ответил старец. — А тебя царьградский собор святителей еще и царем не признал и не признает! Напрасно ты того добиваешься.

— Оттого-то Византийская империя и пала, что волей государя пренебрегли там. От одного погиб и сам византийский император, — задумчиво глядя в сторону красного огонька светильника, тихо, спокойно произнес Иван Васильевич. — Знай, друже, ты и все заволжские старцы опасны не столь государю, сколь родной земле, а иосифляне покудова полезны сколь земле, столь и государю. Кого же мне выбрать из вас?

— Воля твоя! Мы не просим у царей милости! Не надо! Нрав твой непостоянен и свиреп, часто ты говоришь о любви к Богу, а человека, близ тебя стоящего, ненавидишь, но не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Опасен ты одинаково сколь полезным тебе, столь и вредным своим прислужникам... Слыхал я, будто уже и на Сильвестра, на по-па-иосифлянина, сторонника своего, ты нападаешь? А уж кто больше-то старался возвеличить имя твое?

Иван Васильевич внимательно посмотрел на старца.

— Вассиан! — сказал он. — Почитаю я тебя за прямоту слова... Нет ничего опаснее льстецов, лицемерных ласкателей. Как в море камней много множество — и малых, и средних, и великих, и

желтых, и белых, и черных, и всяких иных, — так же много способов у льстеца к расположению в свою пользу всемогущего начальника. Искатель места и тепла близ царского трона ни одного камешка в житейском море не оставит без того, чтоб не воспользоваться им... Сильвестр, пока был моим учителем, не льстил мне, а когда я захотел сам править, он стал мне внушать, будто всякая умная мысль, всякое дело доброе для государства, им мне подсказанное, будто это изощло от меня... Увы! Я не хочу таких благоденний от своих холопов... Коли я знаю, что разумное и полезное исходит от холопа моего, то я награждаю его, возвышаю за службу, но Сильвестр привык, чтобы я жил его головою, и теперь меня, бородатого, хочет делать похитителем его мыслей, хочет в моих глазах моего же унижения... Я тебя держу в заточении за твою смелую прямоту, а как же мне наказать ближнего советника, коли он хочет, лести ради и обладания первенством в государстве, меня сделать вором его мыслей, его дел?

Иван порывисто поднялся с места и прошелся, тяжело дыша, по келье.

— Тесно мне стало среди моих советников, душно! Не попусту пришел я к тебе... Слово жесткое хочу слышать, стосковался я по нем. Честолюбцы задавили меня. Страшно, старче, быть царем! Заволжские нестяжатели счастливее меня... Они отошли в сторону, заботы их — в поругании иосифлян. А у меня две великие заботы. Одна — быть справедливым, другая — познать людей окрест себя. И то и другое надобно мне, чтоб вершить дела, полезные нашему царству... Люди постоянно чего-то ждут от правителя. Один требует больше, другой меньше, а есть и такие, что хотят обладать всем... Как вот тут всех насытить? Бояре негодуют на монастыри, на иноков, получающих из моих рук земли; священство восстает против бояр, «ленивых богатин»; черный люд жалуется на тех и на других, а ливонские немцы возомнили уж, будто разруха пошла в нашей земле, — перестали дань платить, нападают на наши рубежи, хватают и грабят едущих к нам из заморских стран мастеров... Немцы наглеют с каждым днем... А мои советники думают-гадают только, как бы им ближе к царю место взять... Вот о чем страдает душа моя, старче, вот чего ради мое непостоянство, злоба и иные слабости... Все заботятся только о себе.

Вассиан поник головой, тяжело, по-старчески сопя носом. В окно из сада проник отблеск заката. Шмыгнула крыса под пол у самых ног царя. Оба молчали. Устало, с передышками, заговорил старец:

— Нет такого владыки, который победил бы лесть. Не верю я и тебе, Иван Васильевич, но не по сердцу мне и твой Сильвестр, и Алешка Адашев, и иные тож, никого я вас не люблю, а особенно не люблю твоего митрополита Макария... Губит он церковь... От-

вращает ее от лица Господнего. Под твои стопы тянет ее... волю даст монахам... Главный наставник он расхитителей, тунеядцев, питающихся мирскими крестьянскими слезами... На что не способны они, дабы вымолить у вельможи село либо деревнишку, жестокосердные они притеснители своих крестьян. Бояре, те, что с тобою не в ладах да в немилости твоей, — прямее, честнее твоих церковных князей... Слушай их!

Подозрительный взгляд бросил царь в сторону Вассиана.

— Ответь мне, старче! Захотели мы, чтоб угодники божии и святые божественные иконы, чтимые в разных бывших уделах нашего царства, стали почитаться по все места на Руси одинаково. Ведь Володимирская Божия Матерь, писанная святым евангелистом Лукой, была привезена нашими родителями из Владимира в Москву и почитается в Москве всю Русью. В иконостасе соборной церкви Успенья Пречистой Богородицы мы собрали иконы присоединенных нами к Москве уделов... Почему же заволжские старцы, и ты с ними, восстают против сего? Открой тайну!

Вассиан нахмурился.

— Не пытай меня, государь! Не считаешь ли ты меня за такого же стяжателя, как близкие твои бояре? Скоро я умру, лукавить мне нечего перед тобой и ни в каких заговорах я отроду не бывал. Скажу тебе совестью — народ так привык, чтоб молиться своему святому, народ не верит не только чужим воеводам, но и чужим иконам... А вы отняли и это у него.

Иван Васильевич стал еще подозрительнее. Голос его сразу сделался холодным, суровым.

— Все вы валите на народ! И бояре, и Курбский, и твои заволжские старцы постоянно пугают меня народом, когда им сказать нечего. Моя воля, чтоб священство помогало мне, но в мои дела не вмешивалось. Когда Бог освободил израильтян от плена, разве он поставил во главе их священника или многих советников? Нет! Он поставил им одного Моисея, как бы царя. Аарону же внушил священство, не дозволив ему вмешиваться в гражданские дела. Но когда Аарон отступил от этого, то и народ отпал от Бога. Точно так же Дафан и Авирон вздумали себе восхитить власть — и сами погибли, и лютое бедствие навлекли на весь Израиль. Не бойся, не допущу я попов к власти. Нет царства, которое не разорилось бы, будучи в обладании попов, но и отказаться от них царям не след.

Старец весело рассмеялся:

— Вижу, батюшка Иван Васильевич, как горько обманывают себя иосифляне! Вижу, что сами они себе готовят могилу, возвеличивая цареву власть над церковью!.. Горько восплачутся потом! Может статься, что я уже не увижу сего, умру, но так будет. Сами себе они готовят деспота. Аминь!

Царь молча поклонился и, сердито хлопнув дверью, вышел из кельи. Старец с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед.

Увидев около ворот обители чернеца с громадною секирой, Иван Васильевич ударил его по плечу:

— Крепче сторожи! Не пускай никого в келью к старцу Вассиану... Головой отвечаешь... Вот тебе мой царский приказ.

VI

Курбский, получив на то разрешение, вошел в государевы покои. Иван в шелковом полосатом халате, подпоясанный по-татарски кушаком, сидел у окна. Задумчиво глядел он на дворцовую площадь, там собирался на торжище народ, бродили козы по склонам холмов, пощипывая траву. Скрип дверей и шаги Курбского вывели царя из задумчивости. Он оглянулся.

— Дозволь, государь, слово молвить.

Иван зевнул и сказал с улыбкой:

— По вся дни мы говорим с тобой, тоже и с отцом Сильвестром и Адашевым, но благодати божией немного вижу я ныне в беседах тех. А было время, мы понимали друг друга, и книжною мудростью своей ты согревал меня...

— Великий государь! — начал Курбский с жаром. — Не томи себя... Неправ ты, государь. Тот же я, что и раньше, но ты не слушаешь меня.

— Для того ли божиим изволением помазан я, чтобы думать чужими головами? — сощуриив глаза, посмотрел Иван в упор на Курбского. — Дивлюсь я, князь, — сколь слепы вы при толикой мудрости!

Курбский пожал плечами и принялся с горячностью доказывать: опасно-де воевать с ливонцами; война может посорить Москву с Германией, Польшей, Литвою и Швецией. Не лучше ли напасть на ногайцев?

— От Бога великий мор послан на ногайскую заволжскую орду, — говорил Курбский, — зимою скот весь ногайский от стужи поадал, сами ногаи мрут, что мухи, и хлеба у них нет. Оставшиеся в живых видят явно посланный на них гнев божий. Пошли они для пропитания к Перекопу. Господь и там покарал их: от солнечного зноя засуха и безводие. Где прежде текли реки, не стало воды. На десятки локтей в земле едва можно достать ее. За Волгой осталось того измайльского народа едва ли до пяти тысяч, а было множество его, подобно песку. На Перекопе пожирает их моровая язва, и ныне не будет и десяти тысяч всадников. Так, я думаю, настало время христианскому государю отомстить басурманам за кровь братьев, оградить себя и свое государство от нечестивых на вечные дни.

Курбский замолчал. Иван сидел за столом, опустив голову на

руки, что-то шептал про себя. Потом, устало повернувшись в сторону Курбского, спросил:

— И прочие воеводы думают так?

— Истинно, великий государь! Но не стало ныне прямоты и смелости в людях, украшенных некогда бесстрашием.

Иван улыбнулся, похлопал по руке Курбского:

— Добро, князь Андрей!.. Люблю тебя за правду. Гусы не должны быть опорой царского трона. Что же ты хочешь от меня? Говори смелее, не бойся... Не такой строптивый я, как болтают.

Курбский некоторое время мялся в нерешительности. Потом, ободренный добродушием царя, сказал:

— Великим умом своим, государь, ты, я вижу, постиг то, о чем я хочу просить тебя... Паки и паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю... Наш долг перед Богом — уничтожить без остатка ногайцев и крымских татар, а на запад нам ли ломиться? Что в нем? Еретики! Пагуба!

— Благодарю, князь, — крепко обнял Иван Курбского, — вижу твое нелюбезие. За воинскую честь и доблесть тебя не оставляю... Теперь же покинь меня, посижу один сего ради да подумаю над твоими словами... и над советами твоих друзей.

Курбский земно поклонился и вышел из царской опочивальни.

После его ухода Иван долго сидел в раздумье. Мысли опять о том же. Ох, эти докучливые мысли! Они преследуют его, царя, постоянно. Временами слабеет вера в себя, в свои силы. Затеяно дело великое, а где выход? Так бывает с путником, идущим в горах. Одолев один перевал, он думает спуститься в место ровное, просторное, где можно отдохнуть. Но нет! Перед ним новая гора, опять он на вершине, и куда ни глянешь — везде горы, горы и пропасти, и не видно дороги ровной, без подъемов и спусков... Может быть, Курбский прав? Может быть... Не отстать ли? Не уехать ли с Анастасией и детьми за море? Их много... Ой, как много этих непрощенных доброхотов!.. У них своя правда, многие из них за нее согласны пойти на дыбу и умереть, а иные токмо о себе помышляют, и пока они явятся открытыми врагами, — сколько зла могут сотворить как правители, как всемогущие хозяева крестьян и холопов!

Тяжело вздохнув, Иван поднялся с кресла, помолился на икону и отправился в царицыны покои.

Анастасии недужилось. Она поднялась с постели, бледная, исхудалая. По лицу ее пробежала ласковая улыбка. Глаза, черные, печальные, смотрят страдальчески. Одна из мамок, Феклушка, рассказала ей утром, что в эту ночь под ее, царицыным, окном какая-то курица пела петухом. Люди хотели поймать ту курицу, а она обратилась в черного ворона и улетела в ту сторону, где садится солнце. Вещунья-старушка, которую привели к царице сенные боярышни, объяснила:

— Не к добру то. Если царь-батюшка пойдет войной за закат солнца, к морю, — не послушает советников, — приключатся великие недуги с ним и с тобою, и смута страшная поднимется в государстве.

Иван молча смотрел на Анастасию нежным, скорбным взглядом.

— Печальница моя по вся дни! Поведай, что с тобой подеалось? Бледна ты и худа, как того не было вчера и позавчера... Не сглазил ли тебя кто, не обеспокоил ли кто, моя горлица?

Анастасия через силу приободрилась: она дала себе слово ничего не говорить мужу о курице и обо всем, что слышала от дворни. Больше всего Иван боялся колдовства. Она знала, как Иван мучается наедине, услышав что-нибудь колдовское. Анастасия всегда старалась успокоить его, хотя сама и недолюбливала Сильвестра и Адашева, хотя втайне и мучилась опасением за жизнь царя.

Сила «сильвестрового хвоста» велика. Многие служилые люди ставлены Сильвестром и Адашевым. Не скоро от них освободишься.

Что сказать царю? Ведь и сам он все это знает. Знает и ничего пока не может сделать, ибо еще не набрал такой силы, чтоб одолеть их.

— Лекарь был? — тихо спросил Иван, усевшись в кресло — Аглицкий или свой? — пытливо взглянул он на стоящую в углу мамку.

— Аглицкий, государь-батюшка, — в страхе пролепетала старуха. — Аглицкий...

— Удались! — кивнул царь в сторону мамки.

После ухода старухи он, глядя на жену, тяжело вздохнул. Ему показалось, что царица хворает неспроста, что кто-то виноват в том.

— Цари, короли, их жены и дети во все времена недужили кому-либо на радость... И теперь враги радуются моему горю. Вида не кажут, лицемеры, и, стоя у трона, вздыхают. Окаянные, вселукавые души! Прикрываются добродетелью и любовью, а сами... Сатана перед крестным знаменем отступает и исчезает вовсе, а они, лукавцы, крестным знаменем и именем Христа прикрываются. Хуже они самого Сатаны!

Анастасия участливо вглядывалась в лицо мужа. Она не могла сдержаться, спросила:

— Чем ты разгневан, государь?

Иван тоже многое скрывал от царицы, щадя ее здоровье, но тут не вытерпел и, подозрительно оглядевшись кругом и плотно прикрыв двери, сказал:

— Упрекают меня мои первые вельможи — не советуюсь с ними, слушаю шепоты будто бы ласкателей. А сами о турецком султани и подумать не хотят... Великий Солиман золотыми буквами грамоту пишет мне о дружбе, а я пойду разорять ханскую землю, Крым? Не хотят понять они, что погибель в безводных степях ждет

войско. Добравшись до Крыма, едва половину войска приведешь туда, да какого войска! Голодного, убогого, усталого.

— Государь-батюшка! — сказала Анастасия. — Велика власть твоя, и сердце твое любовью к государству напоено. Побереги себя, не будь подобен огню, себя сжигающему. Бог мудрее нас. Он укажет своему помазаннику путь в делах земных.

Иван нахмурился.

— Огонь для того и есть, дабы гореть. Земной правитель повинен до смерти стоять за родное дело. Бывают дни, когда хотел бы я обратиться в сыроедца-волка, чтобы загрызть своих благодетелей. Вот была бы потеха! Нет такой казни, коя могла бы достойною наградою быть многим из них...

На губах Ивана мелькнула злая улыбка.

— Что ты, батюшка! Христос с тобой! — испугавшись, замахала на него руками Анастасия. — Помолись Господу Богу... Да простит он тебя!..

— Ну вот, ты и поверила!

Тяжело поднялся с своего места Иван. Постоял в раздумье перед иконами, а потом порывисто осенил себя крестом, земно поклонился иконам.

— Экие мысли! Прости, Господи! Смягчи, владыко, гнев мой!

И, обратившись к жене, мягким голосом сказал:

— Бойся, Анастасия, толкать меня на убогий, прискорбный путь. Не отвращай меня из жалости от более достойной дороги. По ней прошли мой дед и отец со славою.

— Но ведь ты, батюшка, не снесешь обид и опасностей... Тебя погубят!

Анастасия опустила с постели ноги, взяла мужа за руку:

— Не сердись, государь! Это я так...

Она была прекрасна в эту минуту. Иван прижал ее руки к губам. Затем отошел от нее и, отвернувшись к окну, тяжело вздохнул.

— Помогай! Не по душе мне место малое, место тихое... Неужто до сих пор ты не поняла меня? Помни: царица ты! Нам ли с тобой бояться обид! Пустое! Бог требует возвеличить и прославить дело рук моих предков. Могу ли я довольствоваться помыслими честолюбцев? Не они ли у одра моего, в дни недуга минувшего, хватались за скипетр, бороды друг другу драли из-за первенства? Я не забыл. Помню! Дивуюсь, Анастасия! Ужели ты забыла? Не случилось бы ныне того, что прежде, чем я на них руку подниму, умертвят они нас с тобой? Господь помешал им однажды. Помнишь? Я остался жив, выздоровел. Но если бы умер? Они истребили бы друг друга и сгубили бы родину. Один мужик сказал мне: «Царь да нищий — без товарищей». Но так ли это? Нет! Я велел

выпороть мужика. Больно было слышать такие слова. Не товарищей, так слуг верных царь всегда волен иметь.

Он быстро зашагал из угла в угол по комнате.

— Не тоскуй, царица! Рушится упрямство поганое!

Расстегнул ворот у рубахи, прислонился к косяку окна.

— Душно! Демон давит!.. Ох!

Царица вскочила, накинув на себя голубой шелковый халат.

— Молись, молись, Иванушка! Не думай! — прошептала она, набожно сложив руки на груди. — Стань на колени!

Иван вытянулся во весь рост.

— Не страшись! Найду я в себе силы держать ответ перед Богом и народом. Найду силу, чтоб раздавить непокорных!

Анастасия испуганно сказала:

— Грешно, батюшка, не гневи Господа, послушай меня!..

— Я — божий слуга на земле. Они — мои рабы! Не должны ли они молиться за божьего слугу? Они будут послушны мне, а я их послушание принесу в дар Всевышнему. Я очистил монастыри от блуда, пьянства и лихоимства, очищу и души ближних слуг от лицепрятия и гордыни... Я поклялся в том Святой Троице и не нарушу клятвы. На площади дал я народу клятву — в строгости и справедливости судить и стоять за государство. Помнишь? Я не нарушу клятвы.

Анастасия глядела на мужа, и ей было жаль его. Она никогда не была за него спокойна. Ей всегда казалось, что вот-вот с ним должно что-то случиться. Он как бы искал опасностей, шел навстречу грозам.

— Неразумно умереть, не испытав всех сил своих!

Иван словно не видел жены и думал о чем-то другом, а не о том, о чем шел разговор. Глаза его загорелись. Очнувшись, осмотрелся кругом подозрительно.

— Никого нет? Да! Да! Ложись! Буду молчать. Язык не должен забегать вперед. Какая ты красавица! Только зачем ты такая хвора? Тебе сила тоже нужна. Ведь и ты им не любя. Сильвестровы прислужники сравнивают тебя с царицей Евдокией, гонительницей Иоанна Златоуста...

Раздался стук в дверь.

Иван вздрогнул, отшатнулся от жены. На носках подошел к дверям, приставив глаз к потаенному оконцу. Стук повторился.

— Входи! — строго сказал царь.

— Государь-батюшка! Дозволь молвить слово холопу твоему! — низко опустив голову, произнес постельничий Игнатий Вешняков.

— Говори.

— Из Нижегородского уезда пришли мужики.

— Чьи?

— Кольчевские. Их отбил Грязной у стражи князя Старицкого.

Лицо Ивана Васильевича потемнело.

— Стража князя Владимира Андреевича перехватила колычевских мужиков? — тихо и грозно спросил царь.

— Так, великий государь! Они не хотели допустить беглецов пред твои царские пресветлые очи. Василий Грязной со стрельцами отбил.

— Слышишь, Анастасия? Братец-то мой какой храбрый! Колычевских мужиков полонил?

— А зачем то ему?

— Со словом на своего боярина шли они на государев двор, царица-государыня!

Царь отошел к окну, чтоб не было видно его волнения. Глубоко вздохнул.

— Обласкайте странников с пути-дороги, накормите, напоите их, а от нашего двора — никуда! Держите с милосердием. Явите пристойное. Ступай с богом.

Поклонившись до земли, Вешняков удалился.

— Увы! — покачал головой Иван. — Упорствуют князи. Стоят на дороге. Трудно Володимиру отказаться от того, что задумал он. Простил я его, но веры у меня нет ему. И почему Володимиру быть царем? От последнего сына моего деда родился он. Андрей Иванович не был наследником. Мой отец, Василий, наследник деда Ивана. Какая же вина моя перед ним? А он и по сие время в обиде на меня и бояр, что отреклись от него.

Большой, сильный Иван наклонился над женой, прошептав:

— Не быть по-ихнему... И я не сплю. Все перед царевым судом будут равны... Рабы божии станут моими рабами. И бояре, и князи, и дворяне, и мужики. Так будет!

Иван тихо рассмеялся, поцеловал жену.

Из соседней светелки к нему подбежал маленький курчавый мальчик. Стал играть серебряными бляхами на халате. Это трехлетний царевич Иван. Сегодня отец подарил ему крохотный железный шлем — не потешный, а заправского дела. Царь надел его на головку ребенка и с улыбкой стал любоваться сыном.

— Ты воин? — спросил он мальчика.

— Я матушкин! — храбро ответил тот.

Царь добродушно рассмеялся. Анастасия, лежа в постели, тоже засмеялась.

— Благодарю отца! — сказала она царевичу.

В ответ на это ребенок низко, чуть не свалившись с ног, поклонился отцу.

— На войну пойдешь? — спросил отец.

— Пойдешь... — ответил царевич.

— На Крым аль на Ливонию?

— Пойдешь на... — Мальчик растерялся и убежал опять в свою светелку.

Царь засмеялся:

— Царевич и тот скрывает свою мысль...

— Полно, государь!.. — улыбнулась Анастасия.

.....

В нижних покоях Вешнякова поджидал Грязной.

— Ну, как встретил ту весть государь? — шепотом спросил он спустившегося вниз товарища.

— Спокойно. Осилил гнев.

— А сказал ты...

Не успел Грязной договорить, как на лестнице послышались тяжелые шаги царя.

— Тише! — сжал руку Грязного Вешняков.

Царь сошел вниз и удивленно остановился против Грязного.

— И ты здесь?

— Здесь, великий государь! — молвил Грязной, став на колени. — Прошу прощенья, что дерзнул я прийти без твоего, государя, зова.

— Поднимись! Слушай! Изловите начальника стражи князя Старицкого. Поймайте его в ночное время, хитростью завлеките.

— Слушаем, государь!.. Слово твое царское для нас то же, что слово божье, милостивый батюшка! Что прикажешь, то и сделаем. Ни отца, ни матери не пощадим, коли к тому нужда явится...

Слова Грязного понравились царю. Он похлопал его по плечу.

— Добудь разбойника... Попытаем его.

.....

В полдень Вешняков доложил царю, что нижегородские мужики бьют челом, просят милости царской за самовольство и за приношение «слова» на боярина Колычева и его друга, наместника нижегородского.

Андрейка, Герасим и Охима пали ниц, когда вышел царь.

— Буде!.. — услышали они над собой строгий голос.

Не вставая с колен, они приподнялись, чтобы увидеть царя. Большие серые глаза его выражали любопытство. Одет он был просто: в суконном коричневом кафтане, в темно-синих шароварах, запряжанных в красные сафьяновые сапоги. Он был молод, высок ростом, строен, с светлыми, гладко зачесанными волосами. Небольшая борода, пронизывающий насквозь, острый взгляд, орлиный нос делали лицо его необыкновенным. Он приветливо улыбнулся.

Смущение и страх нижегородцев прошли. Парни смело рассказали о крутости колычевского нрава, о боярском неправедном, самочинном суде без старост, без целовальников; о том, как утопил боярин старуху-знахарку и за что ее сгубил.

Царь спросил, всю ли свою пашенную землю запахивает Колычев и гонит ли хлебные обозы в Нижний и на Волгу для продажи.

Герасим ответил, что боярин запахивает самую малую часть пашенной земли, чтобы накормить только себя и своих людей, холопов и крестьян, и в продажу ничего не дает и никакого не прилагает старания, чтобы вся пашенная земля давала хлеб, крестьян своих и то теснит хлебом. И выходит, что боярин Колычев живет не по совести, и как «собака на сене».

— Был ли в колывеской вотчине наш посланный Василий Грязной и что он говорил людям? — спросил царь, испытующе взгляды-ваясь в лица парней.

— Был царский посланник. О войне он народу, государь-батюшка, баял, о сборе ратных людей. А как уехал, еще лютее сделался Никита Борисыч. Тут он старуху и утопил, и этого парня на цепь посадил... Лютой он у нас, особо во хмелю...

Иван терпеливо выслушал жалобы парней.

Вешняков низко поклонился царю и хотел было увести челобитчиков, но царь остановил его.

— Обожди, — и, обратившись к Охиме, спросил ее: — Ну-ка, девка, что скажешь?

Он улыбнулся. Осмотрел ее с головы до ног, ободряюще кивнул ей:

— Эж, ты какая!

Охима рассказала царю, как наместник теснит мордву, как волостели и прикащики жестоко расправляются с мордвой, чувашами и черемисами. Не пускают их в Нижний, а пустив, облагают данью, кою взыскивают насильно, батожем, себе на кормление. Охима сердито закончила:

— Худо станет воеводам и волостелям, коли бушевать учнет народ... Неправда ихняя на них же и скажется...

— Ого! — усмехнулся царь. — Бойка! Пугаешь!

Охима поведала царю, как наместник принудил ее силою быть его наложницей, и о том, что не ушла бы она из Нижнего, кабы не боялась попасть в руки воеводы. Не покинула бы она своего старика-отца одного, без ее помощи и заботы.

Глаза Охимы, казалось, еще более почернели, расширились от негодования, щеки разругались, высокая грудь ее тяжело дышала. Девушка приблизилась к царю, сложив свои руки, умоляюще и со слезами в голосе сказала:

— Покарай их, государь! Казни их! Проклятые они! Шайтаны!

Вешняков подскочил к ней, хотел оттолкнуть ее от царя, она с силою оттолкнула его самого так, что он едва не упал.

Лицо Ивана стало холодным, сердитым.

— Так ли ты говоришь, не по злобе ли? Не хочешь ли ты ради мордовской выгоды оговорить наместника?

Охима коснулась самого больного места в государевых делах. Совсем недавно утихли в Поволжье бунты среди черемисов и татар. Царь много ночей не спал, проводя время либо в советах с вельможами, либо в собственных размышлениях.

Ведь не кто иной, как черемисы, приходили к царю, просили его принять их в свое подданство, и вдруг... Вон и кабардинские черкесы шлют своих послов, просят принять их в русское подданство. Стало быть, они не против Москвы. В чем же дело?

А бояре и Курбский князь, посланные для розыска и судебных дел, винят во всем народ, самих татар и черемисов. Заодно с боярами и мурзы, и купцы татарские, многие князи и купцы черемисские... Винят свой же народ! С их рукоприкладством бояре грамоты привезли. А в тех грамотах под клятвою по мусульманской и языческой вере сказано, что-де виновен сам простой народ. И что зря, мол, царь освободил его от пошрины и всякой государевой тяготы.

И вот простая девка, мордовка, винит именно бояр и воевод, стало быть, и Курбского. Кому верить? Мордовку посчитать за лгунью? Но он сам хорошо помнит, как и мордва и черемисы помогали ему в Казанском походе. Они даже спасли его от смерти.

Охима, как бы угадав мысли царя, еще более горячо, еще громче сказала:

— Отсеки мою головушку, царь-батюшка, коли говорю неправду... У меня был мой любимый Алтыш Вешкотин... На царевой воинской службе он ноне... Что скажет Алтыш? Кто не знает, что воевода держал меня в своем терему? Нехорошая я! И не скрою того теперь я от своего Алтыша... Расскажу ему всю правду... Пускай лучше убьет меня, нежели мне обманывать его!

Царь задумчиво спросил:

— Имя твое?

— Охима.

— Не страшись, не убьет! — и, обратившись к Вешнякову, царь приказал: — Поставь на работу ее к Федорову... Окрестите. Язычица она...

Царь спросил Андрейку:

— Твое имя?

— Андрейко Чохов, государь-батюшка, отец наш родной! — ответил парень, став на колени. — Добрый наш государь!.. Хочу пушки лить! Помоги умудриться ратному огневому делу.

— А ты?

— Герасим я, Тимофеев... Будь милостив, государь-батюшка! Тож хочу быть ратником...

— К дьяку Ивану Юрьеву веди! — произнес царь. — Посадить на воинскую службу, но не в одно место... Тому, — царь указал на Герасима, — под рукою Воротынского... на рубеж. А того — на Пу-

шечный двор... Учините всем им распрос в приказе. А за побег из вотчины накажи смердов батожем, чтоб не бегали самовольно из поместий, не чинили непослушания господам... Смерд должен знать свою меру.

Парни, стоя на коленях, смиренно выслушали слова царя.

Иван подошел к Охиме, погладил ее по спине.

— Тебе ли унывать? Ишь ты! Крепка! Никак не ущипнешь... — И, обратившись ко всем, ласково сказал:

— С Богом! Служите честью! Не имейте зла на своих владык! А ты, Игнатий, накажи и накорми их, да сведи к протопопу... Пускай покаются во грехе... очистят душу от злобы против господ...

Тем и кончилась встреча нижегородских беглецов с царем.

После свидания с нижегородскими беглецами царь Иван, войдя к царице, сказал с хитрецей в глазах:

— Слушай! Коликия бы досады ни чинили мне наши честолюбцы, а не одолеть им меня... Когда умру я — погубленный врагами, силою, аль по-христиански, своею смертью, — держава моя тверда будет и нерушима. Немало верных людей у меня, новых, дерзких, готовых сложить голову за царя. Один звездочет-мудрец сказал: «Что бы ты ни делал, распознай — сколь полезно то земле твоей». Вижу, что народился я божиим изволением на царство... И что в делах моих его воля, ибо иду я правильным путем.

Царь рассказал Анастасии Романовне о беседе своей с колычевскими холопами, о том, на какую работу посадил он их.

— Любо слушать дворянина, но не грешно царю послушать и мужиков. Монахи, странники, иноземцы и всякие челобитчики сказывают о великих неправдах в моем государстве, знаю... Посылаю бояр для розыску и спросу в дальние грады и села и николи не нахожу правды в их доношениях. Теперь буду посылать по деревням не бояр для сыска, а иных людей... Опричь них. То будет ближе к правде, как вижу я... Бояре Колычева прикрыли бы, а Васька Грязной не пожалел боярина... Чую, наплел чего и не было, — усмехнулся царь, — но все же открыл глаза мне на многое...

Сел в кресло и несколько минут сидел, оцепенев от нахлынувших на него мыслей. Потом сказал:

— Все изменить надо, но нелегко то! Надо обождать. Опасно уподобиться Самсону, повалившему столбы капища и похоронившему себя под ними.

Лицо его покрылось красными пятнами, глаза заблестели мрачным торжеством, и несколько раз он тихо прошептал: «Опричь них».

Заплакал царевич Федор. Из соседней горницы прибежала мамка.

Иван встал с кресла, подошел к люльке, склонился над ребенком, потрепал его за ручонку... Мамка стала опрашивать ребенка. Иван помог ей... Пришла кормилка, села около царицы. Анаста-

сия требовала, чтобы ребенка кормили у нее на глазах, в ее опочивальне.

Царь в хорошем расположении духа вышел от царицы.

.....

Глубоко в подвале, под царским дворцом, помещался пыточный каземат, обложенный камнем, тщательно выбеленный, чисто подметенный, с изображением на стене громадного глаза, неотвязно следившего за каждым, кто находился здесь.

В одном углу широкий горн, таганы. В другом — дыба. На особых палках — в порядке размещенные сковороды; ременные, с железными набалдашниками, бичи; железные когти, круто изогнутые, острые, ярко начищенные кирпичом; разных калибров клещи, серые от постоянного каления, и множество игол для вонзания под ногти; ножи, пилы.

Все это содержалось с явной заботливостью и усердием.

Высокого роста, сплошь бритый, безусый, безбровый кат¹, вывезенный из Литвы, по-хозяйски прибрался в застенке, ожидая прихода царя. На нем новая желтая рубаха и кожаные штаны, зашунутые в красные сафьяновые сапоги.

Не торопясь он разводил огонь под одним из таганов.

В темном коридоре, недалеко от пыточного каземата, слышится полный ужаса и отчаяния голос человека. То начальник стражи князя Владимира Андреевича. Прошлой ночью его поймали государевы люди, в то время, когда он шел из Чудова монастыря с богомолья, от полунощницы. Подстерегли Василий Грязной и Вяземский со своими стрельцами.

— Эй, уймись, божий человек!.. Нехорошо! — высунувшись из двери каземата, крикнул кат. — Чи реви, чи не реви — не поможись. Апосли накукуишься удоволь...

Коварная усмешка скользнула по лицу ката.

Вопли заключенного усилились.

Кат махнул рукой, вновь вернулся к огню.

Тепло шло от тагана, угли и железо раскалились, едкий дым щекотал ноздри, стало клонить в сон. Кат сладко зевнул.

Вдруг позади него послышался шум. Он вздрогнул, приподнялся. Из темного коридора, освещенный отблеском огня, на него глядел царь Иван, одетый в черный кафтан. На голове его была черная тафья-ермолка, усыпанная драгоценными камнями.

Кат низко поклонился царю.

— Очнись, праведная душа! — раздался тихий, усмешливый голос Ивана.

¹ Кат — палач.

Из темноты вышли два дюжих стрельца. Обратившись к ним и к кату, царь сказал:

— Испытаем плоть, разум, сердце и душу того холопа. Ведите.

Оставшись один, Иван вытянул из-за пазухи спрятанный под черным кафтаном крест, помолился на него, поцеловал.

— Ты руководишь меня светом твоим, — прошептал царь, — деяния мои приими во славу твою!

Там, в черноте подземелья, послышался дикий вой, возня.

Иван прислушался, улыбнулся. Сел у тагана, стал греть руки.

Возня и шум усиливались, и, наконец, в каземат ввалились стрельцы, без шапок, растрепанные, ведя за вывернутые назад руки усатого, широкогрудого человека, все лицо которого было в синяках и кровоподтеках.

Увидев царя, он крикнул задыхающимся голосом:

— Государь-батюшка, Иван Васильевич! Помилуй!

Царь сделал рукою жест, повелевающий стрельцам уйти. Они вышли, а приведенный ими узник пал ниц перед царем.

Кат с деловым видом подошел к полке, снял с нее небольшую железную лопаточку и сунул ее в горячие угли, а на таган поставил чашу с маслом.

— Поднимись, собака! — толкнул ногою царь валявшегося на полу узника.

Тот послушно поднялся на коленях.

— Обладай! — повелительно сказал царь Ивану кату, кивнув в сторону узника.

Кат мягко, на носках, подошел к трепетавшему от ужаса начальнику княжеской стражи и, приподняв его, поставил на ноги. А затем принялся неторопливо, называя его ласковыми именами, снимать с него кафтан и рубашку. Оторвав пуговицу, кат покачал головою, положил себе в карман.

— Дай мне ее! — строго сказал царь.

Кат вынул из кармана пуговицу, отдал царю, который, повертев ее в руках, сказал:

— Литовская...

Нагнулся, тщательно осмотрел одежду узника.

Кат озабоченно возился около своей жертвы.

Иван Васильевич сел на скамью, внимательно следя за действиями ката.

У начальника княжеской стражи зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Когда он был обнажен по пояс, кат провел своей ладонью по его спине, погладил, с каким-то особым, деловым видом пошлепал по телу. И с выражением удовольствия на лице отошел в сторону, стал ждать приказа царя.

Поднялся с своего места Иван Васильевич.

— Сказывай! Веруешь ли ты в Бога, творящего чудеса, не знающего в гневе пощады и в милости исполненного щедрот?

— Верую, великий государь, верую... — еле шевеля от страха губами, прошептал допрашиваемый.

— Знаешь ли ты царя, воцарившегося на Руси божием изволением, единого скипетродержателя, владыку, владычествующего и всеми правящего?

— Знаю, — послышался в ответ робкий шепот.

— А коли так, чего же ради ты на расправу своему князю увлек моих людей, шедших ко мне с челобитием? Стало быть, твой князь выше царя, коли он может бросать в темницы царевых рабов? Отвечай?

Глаза Ивана глядели в упор на княжеского холопа.

Царь выхватил из-за голенища плеть и с силою ударил ею княжеского стражника по лицу.

— Ты молчишь! Окаянный лстец! Подобно своему хозяину, упрятал ты змеиное жало... А кто того не знает, что спрятанное жало — горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится. Ну, мы не будем того ждать. Вырвем жало, покуда оно не вышло наружу...

И, кивнув головой кату, царь сказал:

— Тронь!

Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника...

Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду ката, оттолкнул его к стене.

— Стой, собака! — громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекопилось злобою. — Не шевелись! Отвечай! Кто бывает у твоего князя и о чем болтают?

— Не ведаю, государь! — престонал узник.

— Может стать, тебе неведомо и кто велел тебе захватить колычевских мужиков?

— Матушка княгиня, Евфросинья, она... она... посылает нас! Князю то неведомо.

Иван некоторое время стоял в раздумьи. Видно было, что он доволен остался ответом своего пленника.

Кат сутился около огня, нагревая большие железные когти.

Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене.

Нахмутив брови, Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его.

— Отвечай, кто из бояр и князей наибольшие доброты князю Володимиру?

— Князья Репнин, Ростовский, Курлятев, Телятьев... А о чем болтают, нам немочно знать... В хоромы нас не пушают...

— Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помилую тебя?

— Стану, государь-батюшка, стану, по гроб буду верен тебе, — со слезами на глазах принялся креститься пытаемый.

— А коли не сдержишь слова?

— Отсеки мне головушку в те поры, отец наш родной... В огне сожги, спали на углие!..

— Клянешься?

— Клянусь!

— Выжги ему на груди крест, чтоб не забыл своей клятвы... Многие клянутся, отрекаются от злоумышления и измены и скоро о том забывают, а ты, глядя на крест, припоминай свою клятву... Вспомяни батюшку-царя...

По лицу Ивана Васильевича скользнула насмешливая улыбка.

— Великий государь!.. — снова завопил княжеский страж. — Запомню я и без того!.. Запомню!

— Самый тягчайший клятвопреступник под пыткой употребляет слова сладчайшие, но я давно перестал тому верить...

Кат уже накалил докрасна небольшой железный крест... Подойдя к узнику, он ласково попросил его лечь на скамью навзничь. Тот покорно выполнил это, — лег, закрыл глаза.

— Молись!.. — приказал царь. — Ежели праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, — он губит душу, а беззаконник, ежели обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, — к жизни возвращает душу свою... Аминь!

В это время кат ловко выхватил из огня щипцами раскаленный крест и приложил его к груди пытаемого...

Царь строго смотрел на корчившегося перед ним от страшной боли человека, часто осеняя себя крестным знамением и нашептывая едва слышно молитву.

Через некоторое время кат смазал грудь пытаемого согретым маслом. Запахло паленым мясом.

— Оставайся слугою князя, будучи моим верным рабом...

И, хлопнув в ладоши, царь вызвал стрельцов.

— Отведите его к Василию Грязному... — сказал он, указывая на лежащего на скамье княжеского стражника.

Все низко поклонились уходившему из каземата царю.

VII

День двадцатого июня был приемным днем царя. В Большой палате, на скамьях, полукругом у стен тихо сидели бояре, думные и ближние люди, окольные, стольники, стряпчие и многие приближенные царем к своей особе; дворяне сидели рядами в прилежавших палате покоях. Бояре в богатых златотканых одеждах и вы-

соких горлатных шапках. Сидели все они неподвижно, храня глубокое почтительное молчание. Палата как будто была наполнена неживыми существами, и можно было слышать малейший шорох. Никто не приветствовал входивших в палату гостей.

Около царя стояли рынды в белоснежных шелковых кафтанах, держа в руках топоры.

Полы приемной палаты были устланы дорогими узорчатыми коврами.

Царь Иван сидел в широком вызолоченном кресле. На нем была бархатная, обшитая парчой, желтая одежда, униженная множеством золотых блях и драгоценных камней. Золотая корона, осыпанная алмазами и жемчугом, была у него на голове. Перстни с бриллиантами покрывали его пальцы. В правой руке он держал золотой массивный скипетр с двуглавым орлом.

Царь принимал прибывших через Швецию шотландцев. Они с отменной ловкостью отвесили поклон, размашисто салютуя своими широкополыми в перьях шляпами. Старший из них вышел вперед, заявил, что шотландцы — народ испытанный, воинственный, готовый служить каждому христианскому государю. Они докажут это, если его величеству угодно будет взять их на государеву службу. Они могут быть воинами, размыслами¹ и мастерами пушечного дела.

Иван внимательно выслушал витиеватую, почтительную речь их. Приветливой улыбкой он ответил на поклоны рослых, курчавых шотландцев. По его лицу видно было, что ему нравится воинская выправка заморских гостей. Особое внимание уделил он старшему из них, стоявшему совсем близко около него. Когда тот закончил свою речь, царь Иван приказал толмачу узнать его имя.

— Джонни Лингетт, — ответил он, с достоинством откинув голову.

Широкоплечий детина, голубоглазый, с большим прямым носом и маленьким женским ртом. На верхней губе чуть-чуть виден пушок. Взгляд простой, слегка наивный.

Царь Иван с любопытством всматривался в лицо бравого шотландца. Потом сказал толмачу:

— Спроси, как же так можно, чтобы честный воин служил каждому государю? Мои воины служат только одному государю — мне, и не почтут ли они то изменой?

Толмач перевел шотландцу вопрос царя.

Джонни Лингетт, весело улыбаясь, переглянулся со своими товарищами, а затем с легким поклоном ответил:

— Не «каждому государю», но только христианскому.

Иван Васильевич усмехнулся.

¹ Р о з м ы с л — инженер, архитектор.

— Толмач, скажи ему: христианские государи проливают кровь христианскую же, и не менее, нежели мусульмане и язычники... И не христианский ли король Франции вошел в союз с Солиманом, называющим христиан «собаками»? Веры разные — меч один и тот же против христиан.

Выслушав толмача, шотландцы стали в тупик: что ответить? Смутились.

Царь нахмурился.

— Ну?! — нетерпеливо постучал он посохом об пол.

— Мы уже давно не были на родине... Мы не знаем ничего о Европе, — ответил юноша.

Царь покачал головою, а затем подробно расспросил их, кто и к чему привычен.

Бояре с трудом сдерживали зевоту. Расспросы царя утомили их. Михаил Репнин кусал губы, щипал себя, чтобы побороть дремоту. Ростовский думал о несостоявшейся сегодня, вследствие царева приемного дня, медвежьей охоте. У Курляева болели зубы, он усердно приглаживал языком больное место десны, еле-еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Самое утомительное было для бояр присутствовать при приемах Иваном Васильевичем иностранцев. Им казалось это пустою забавою «молодого, честолюбивого венценосца».

Царь завел речь об изобретенных в Италии двадцать лет назад пушках-фальконетах, именуемых в Москве «волконейками» или «соколками». Ему хотелось знать: какие дальнобойные пушки шести-семи футов имеются за границей, чтобы можно было такие пушки возить на спине коня, при себе?

Толмач не успевал переводить вопросы царя, чем вызвал его неудовольствие. Велено было позвать другого толмача. Они стали вдвоем осыпать вопросами шотландцев, оказавшихся людьми, сведущими в пушечном деле. Они охотно поведали царю о новых пушках, какие им приходилось видеть в других странах. Особенно заинтересовался царь рассказом их о кожаных пушках, которые изобретены в Швеции. Крепкая медная стволина обволакивается кожей; можно стрелять двумя, либо тремя ядрами сразу.

Шотландцы, по требованию царя, нарисовали на бумаге углем устройство этой пушки.

Царь поблагодарил и велел Адашеву принять их на государеву службу; милостиво протянул свою руку, которую поочередно и облобызали шотландцы.

По уходе шотландцев царь долго рассматривал нарисованное ими на бумаге. Вздохнул, покачал головою и убрал чертеж в карман.

На смену шотландцам с шумом, с сабельным звоном явились

атаманы казаков: донских, гребенских, терских, волжских и яицких. Были вызваны они царем для беседы о предстоящем походе.

В пестрых одеждах, в широких шароварах, подпоясанные зелеными и красными кушаками, с кривыми турецкими саблями и ятаганами на боку, усатые, чубатые, вошли они в палату. Во дворец никому не дозволялось являться с оружием. Казакам царь это разрешил.

— Бьем челом, великий государь!.. — громко сказал любимец царя атаман Павел Заболоцкий. Он высоко поднял правую руку, в которой держал громадную косматую шапку. Оглянувшись, крикнул товарищам: «Гей!»

Казаки низко поклонились, звеня цепочками, четками и оружием.

Чубатые, седоусые атаманы с лукавой усмешкой из-под сумрачно нависших бровей осмотрели неподвижно сидевших на скамьях бояр.

Царь Иван поднялся со своего места (с шотландцами беседовал сидя) и тоже низко поклонился казакам.

— Здоровы ли, атаманы?

— Живем, великий государь, и Богу за тебя молимся, — бойко ответил Заболоцкий.

Снова общий поклон.

«Разбойники, чистые разбойники! — думал Михаил Репнин. — Душегубы! С нами никогда царь не бывает так ласков, как с этими бродягами!» Сильвестр, вскинув очи к небу, вздохнул, что заметили многие из придворных. Адашев глядел с надменностью на толпу атаманов. Зато веселые, задорные улыбки появились у дворян и особенно выделялось лицо Василия Грязного. Неожиданно встретившись взглядом с ним, Михаил Репнин побагровел, насупился. «Сволочь! Пес!» — мысленно обругал он Грязного.

Коренастый, широкоплечий атаман Заболоцкий — старый рубака. На его красивом черноусом лице следы сабельных ран. В темно-синем казацком кобеньяке, опушенном бобром, в малиновых суконных штанах и сафьяновых сапогах с золотыми украшениями, — он выделялся богатством своей одежды среди других атаманов. Его руки сверкали от множества дорогих перстней. У пояса кривая турецкая сабля в бархатных малиновых ножнах с позолотой.

— Великий государь! — громко произнес Заболоцкий. — Казацкие сотни с берегов Дона, Волги, Яика, Терека и с Гребня бьют тебе челом служить верно! Наслышаны мы о хотении твоём, государь наш Иван Васильевич, видеть нас и слово свое царское молвить нам. Великая радость от сего в казацких станицах... Буди к нам милостив, великий царь! А мы не забудем добро твое.

Поклонился царю Заболоцкий, а вместе с ним еще и еще сделали низкие поклоны и все другие его товарищи.

— Храбрые атаманы! — воскликнул царь с воодушевлением. — Господарь молдавский Стефан сказал про моего деда: «Он дома сидит и спит, а владения свои увеличил; а я, ежедневно сражаясь, едва могу защитить свои пределы». Наши соседи, ливонские немцы, посчитали и нас спящими... десятки лет не платят долга и к тому же пытаются загородить от нас моря и иные царства. Обманывали немцы моего, блаженной памяти, родителя, великого князя Василия, а ныне обманывают и меня. Обещают то, чего не могут сделать. Немцы не одни. Врагов у нашего царства немало. На них-то и понадеялись немецкие вельможи... Надо ли нам терпеть?! Ужели кони наши охромели, сабли заржавели, копыта притупились? Ужели мы не пойдем на защиту поруганных наших святых церквей и в тишине склоним головы перед бешеными псами? Казаки! Единой веры мы с вами, единой крови — к кому прилепитесь? Не слушайте краснословцев, осуждающих распрю с Ливонией... Наш гнев — гнев божий!.. Вседержителю угодно, чтоб наказал я лютерских еретиков проклятых, захвативших в древности земли наших предков... и надругавшихся над нашими людьми... Мне ведомо, что славный казацкий вожь Дмитрий Иванович Вишневецкий зовет казаков воевать с Крымом, с нехристями-мусульманами... Но то от казаков не уйдет... Победив немцев, прилепившись к морю, мы сделаем себя еще более сильными! И крымские нападатели не устоят в те поры перед нами. И коли казачество будет прямить нам и пойдет на Ливонию заодно с Москвой, то и царь доброхотством его пожалует и дела ваши незабвенны станут. Казачество же, со славою, помощью божией и царской, поразит врагов своих и на востоке, и на юге, и на западе... Ныне, ради победы над немцами, да будет наш союз и дружба нерушимы!..

Последние слова царь громко сказал на всю палату. Говорил он так, что у некоторых казаков выступили слезы.

Заболоцкий поднял руку; застыли поднятые руки и над головами остальных атаманов.

— Клянемся, царь-батюшка!.. Клянемся служить правдою!

Палата содрогнулась от мощного восклицания казацких начальников.

Царь стоял довольный, раздумавшийся, кланяясь с ласковой улыбкой. Глаза его восхищенно смотрели на казаков, которые низко поклонились и походкой степных всадников, переваливаясь, мягко, на носках, выходили из палаты.

Позднее, в «меньшей» палате, где хранились итальянские, латинские и немецкие книги и шутейные сказы доминиканцев, царь Иван принимал людей порубежного бережения и засечной стражи с южных окраин¹.

¹ Пограничная охрана.

Сопровождал порубежников знатный боярин, третий местом в Боярской думе, один из любимцев царя, князь Михаил Иванович Воротынский.

Вошедшие долго молились на иконы. Перед каждым образом горели лампы. Пахло маслом и церковными благовониями. Палата была небольшая, уютная, убранная коврами и шелковыми тканями.

Иван Васильевич сидел в кожаном кресле. Он был в добром расположении духа. Распахнув кафтан, надетый на голубую шелковую рубаху, неторопливо посматривал он на ратников. Лицо его было приветливым, глаза искрились добродушием.

Помолившись, порубежники низко, до земли, поклонились государю. Воротынский назвал каждого по имени и рассказал, из какой кто окраины.

Внимательно выслушивал царь боярина, оглядывая каждого ратника с головы до ног.

— Господу Богу угодно, дабы позаботились мы об украинной дозорной страже, — сказал царь, выслушав Воротынского.

Царь объявил, что ныне настало такое время, когда родине отовсюду грозят враги. И назвал он немцев, Литву, крымцев, ногайцев, шведов, османов.

— Берега нашего царства велики и плохо оборонены... Дед мой, Иван Васильевич, да и отец мой, Василий Иванович, немало порадели бережению нашей земли. И мне надлежит беречь и землю, и народ наш по мере сил моих и милосердия всемилостивого Господа Бога. Иван, великий дед мой, многожды посылал слуг в иноземные крулевства добывать розмыслов, стенных, башенных и палатных мастеров... И крепости ими сложены устойчивые и для боев пригожие. Но засеки и до сих дней немногую согреты ласкою государей. Почли нужным мы послать на засеки розмыслов, кои укрепят их прочною защитой. Засеченную стражу надобно оснастить нарядом и всякою иною утварью, а людей одеть и одарить конями и милостию нашей украсить. Храните рубежи царства пуше глаза, будьте усторожлив, бдите ежечасно, дабы враг не вторгнулся в засеку! В недолгом времени прикажу я Разряду созвать боярских детей с украин, станичных голов и старшин казацких, всех людей сторожевых, засеченных, начальных в престольный град Москву... На общем соборе рассудим мы, с божьей помощью, как то сделать, чтобы чужестранцы на государевы украины войною безвестно не приходили, а станичники были бы сильнее и усторожливее, нежели то было до сей поры... И из нашей земли без царевых грамот никого не пускать. Учиним мы тем собором приговор о станичной и сторожевой службе, какою она должна быть... Передайте о моем царском слове своим товарищам по всем путям...

Царь тут же приказал Воротынскому разъяснить порубежникам пока, до боярского приговора, как они должны охранять землю.

Воротынский строгим голосом объявил, чтобы сторожа на условленных местах стояли, «с коня не сседая», разъезжали бы по два человека направо и налево. Где и как сторожить, укажут ближние воеводы. Огни разводите не в одном месте: если кашу сварить, в другой раз уже готовь пищу в ином месте. В одном и том же месте огня разводите не след. И там, где полднели, не ночевать, а где ночевали — не полднели. В лесах не ставиться. Стоять там, откуда было бы хорошо видно окрестности на далекое расстояние. Увидев врагов, отсылать гонцов в ближайшие города. И если будут такие сторожа, которые, «не дождавсь себе отмены», уедут с своего поста, и «в те поры от воинских людей государевым украинам учинится война, — тем сторожам от государя, царя и великого князя быти казненными смертью. А тем сторожам, что лишнее простоят, не получив смены, платить по полтине в день на человека».

Еще строже Воротынский сказал о том, что «если станичников или сторожей воеводы или головы кого пошлют дозировать на урочищах и на сторожах¹ и если узнается, что они стоят небрежно и неусторожливо и до урочищ не доезжают — хотя прихода воинских людей и не будет, то все же тех станичников и сторожей за то бить кнутом».

Долго объяснял Воротынский, как должна вестись сторожевая служба на рубежах. Все засечные головы и их товарищи слушали молча, тихо, ловя каждое слово боярина и робко, искоса, поглядывая на царя, который сидел в кресле, опершись головою на руку. Он не глядел ни на кого, погрузившись в раздумье. Лицо его стало хмурым. Вдруг он быстро поднялся, перебив Воротынского:

— Михаил Иванович! Накажи воеводам настрого, чтобы лошади у сторожей были хорошие, на которых бы, увидев врага, можно было ускакать. Худых коней на засеки не отпускать. Не исполнят того, — ляжет на них гнев государев... Отпиши!

Все, что сказал станичникам Воротынский, — все это давно обсуждено царем, и не раз, с ближними боярами и воеводами.

— Яви свою ревность в деле, и я поставлю тебя хозяином рубежей... Великую честь и великую власть ты приемлешь, — сказал царь Воротынскому.

Отпустив станичных голов и всех других станичников, царь Иван остался наедине с боярином.

— Тебя я не ставлю в ряду с иными. Ты тверд нравом и не ищешь того, чего не заслужил; родовитостью не кичишься и своей доблестью не превозносишься, как иные, даже самые ничтож-

¹ Сторо́жи — наблюдательные пункты пограничной охраны.

ные... Ты все требуешь от себя, а не как другие, требующие все от своего государя. Но нет в мире владыки, который бы во всем мог ошастливить человека...

— Полно, отец наш, государь-батюшка!.. — низко поклонился князь. — Мы ли, рабы твои, тобою не ошастливлены?

— И хотел сказать я тебе еще: согревай своею заботою малых сих, боярских детей и дворян. Они юны. У них долгий путь к славе, и на этом пути многое могут сотворить они в пользу государства. С Курбским ты не ладишь... Знаю. Отначе Андрей Михайлович — мужественный воин. И не все возведен мною князь в сан боярина. И на луговую черемису ходил он тем годом, и в Дикое Поле выступал под Калугу, ожидая там крымцев, и в Кашире был... Почетом немалым он уважен в войске... Нельзя государю того не видеть. Верю, что и ты не отстанешь от него и явишь на рубежах усердие не меньшее. Будь прямым, как был, а на милость мою полагайся... Ты, да князь Иван Федорович Мстиславский, да еще есть у меня из бояр, прежде и ныне родством славных и службою царю верных. Места ближние в Думе крепки за ними...

Воротынский еще раз низко поклонился царю. Он был невысок ростом, широк в плечах, крепок; в сабельном бою равных себе не имел. Темные кольца волос непослушно сбивались на лоб.

— Паки глаголю: не гнушайся малых людишек, худородных, незнатных. На рубежах они будут служить правдою, а мы не забудем их. Многие холопы мои не могут обуздать свои гордые помыслы и безрассудное хотение, — не будь таким!

Царь положил руку на плечо Воротынскому.

— Появился на нашем дворе беглый мужик из нижегородских пределов. Простил я его за тихость и ревность к правде. Он послан к тебе. Гони его на ливонский рубеж. Поди, там ныне весело! А скоро будет и того веселее... Не соскучится!

Царь тихо рассмеялся.

— Не унимаются ливонские князи... Просят мира, а сами нападают. Церкви, вишь, все наши разрушили в Риге, Юрьеве и Ревеле. Бьют моих купцов, хватают в полон наших девок, секут головы моим людям... Иноземных гостей к нам не пускают. Сатана ум их помрачил. Ливонские земли — извечно русские. О том мои дьяки и воеводы не раз отписывали магистру. И послы его приезжали к нам. Но дани, что требую, до сих дней так я и не вижу от немцев. Подождем еще, потерпим. Терпение — великий дар!..

Немного подумав, он с шутливой улыбкой спросил:

— Скажи мне, князь Михайло, обладаю ли я тем даром?

— Не холопу судить о своем господине, великий государь! — смущенно развел руками Воротынский.

— Ну, добро! Како мыслишь о походе, что задумали мы?

— По вся места моя сабля прольет кровь твоих врагов, государь.

Иван молчал. Видно было, что ответ Воротынского не вполне удовлетворяет его.

— Ливония или Крым? — настойчиво спросил он.

— Ливония! — ответил князь.

Оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Воротынский — спокойно и смело. Царь — испытующе.

— Так ли?

— Так.

— Буде поедешь на рубеж, оставь нам, по обычаю, крестоцеловальную грамоту.

— Да будет так, великий государь! — низко поклонился Воротынский.

— Иди с богом! Верши!

Князь вышел. На площади он остановился, помолился на соборы, облегченно вздохнул.

Иван наблюдал за ним в окно. Он весело рассмеялся, когда увидел, как боярин обтирает пот на шее и лице и как заторопился по двору.

.....

Прежде нежели отправить Герасима в засеку, князь Воротынский сдал его на обучение копейщикам.

На просторном месте, в Лужниках, вместе с другими парнями, стали обучать его копейному делу.

Высокий, похожий на цыгана, смуглый, с вьющимися черными волосами, стрелец держал в руках длинное увесистое копьё. Такие же копьё, но только покороче, были розданы и всем обучающимся парням.

Стрелец прохаживался по лужайке вдоль шеренги молодых воинов и громким, грубым голосом говорил:

— Засечник — што муха: была бы щель, там и постель, а где забор, там и двор. Засечник спит, а одним глазом за околицу глядит. С копьём, как с бабой. Крепко держит в руках. Не расстается. А латы копейщику подобают легкие, чтоб не тяжелы были... Засечник — конный человек. Латы с брюхом не гожи ему. Латы штоб не ниже пояса были и везде плотно к телу. Не так, как в прежние времена, с великими брюхами делали, кои больше беременным женкам, нежели воину, пригодны... Смекайте! Чего губы растрепали?

Будущие засечники и копейщики растрепали губы именно оттого, что с большим вниманием слушали своего учителя. Все, что говорил стрелец, Герасиму было очень ново и чудно.

— Наручи всякому гожи, но штоб не долги были. От посеку, от камня, и от стрел, и иных невзгод надобно железные шапки иметь. Внимай дале! Навостряй уши!

Стрелец некоторое время хмуро осматривал ряды своих учени-

ков. В глазах суровость повелителя. Герасим замер: даже дышать ему боязно стало.

— После того, гляди, покажу я вам, как владеть копьём красно и гоже против недругов... — торжественно произнес стрелец. — Гляди!

Он поставил перед собой копьё.

— Коли копьё так, возьмись за него правою рукою в том месте, которое против ноздрей твоих, чтоб палец твой вверх по копьёу лег, и правою ногою немного наперед стой, а левою немного назад. Ну, делай!

Ратники вразброд выставили правую ногу вперед, а левую назад: копьё у них склонились в разные стороны. Стрелец сердито ударил по затылку отстающих, крича: «Ступи! Ступи!» Герасим тоже получил подзатыльник, несмотря на то что старался со всем усердием.

— Примечай! Примечай! Проворь! Проворь!

Герасиму всегда казалось, что нет ничего проще, как драться копьём. Дома он хорошо владел рогатиной. Она очень похожа на копьё, — стало быть, и им тоже легко владеть! Двух медведей заколол он на Ветлуге рогатиной, безо всякого учения, а тут, выходит, не так-то просто...

Много времени понадобилось молодым ратникам, чтобы кое-как научиться копьё подымать, ставить да носить.

— Когда копьё обоими концами ровно на плече лежит и захочешь его острием кого уложить, — ты его подыми с плеча и дерни правую руку с копьём назад!

Обливаясь потом, яростно размахивая копьём, стрелец проделывал упражнения, разя мнимого противника. Затем молча смотрел на своих учеников, смотрел как-то недоверчиво.

— Сmekнули? — отрывисто спросил он.

— Сmekнули! — последовал нестройный ответ.

А голос неумолимого учителя звучал с нарастающей силой воодушевления:

— Всякому воинскому человеку надобно в копейном деле гораздо примечать, как пеших бить. Прямо перед собою копьё уложи и недругу острие в горло или в очи уставь... Чтoб польза учинилась, бей со всей силой!.. Не зевай! Плохой копейщик хотя высоко в лицо острие и уставит, но недруг легким обычаем копьё рукою вверх или в сторону собьет. Сmeкайте! Сmeкайте!

— Сmekнули, добрый человек! Сmekнули!

— Второе: когда ты копьё недругу прямо в брюхо уставишь, которая есть лучшая установка, тогда крепко острие повороти, чтоб лучше шло. Сmeкайте!

— Сmekнули, добрый человек! Сmekнули!

Стрельцу по душе было, что его зовут «добрым человеком». Это еще более воодушевляло.

— И хоть пушки, порох и огненный бой у нас и есть, — сказал он с усмешкой, — но без копейщика не побьешь недруга! Пригожее копейного дела ничего не найдешь. Великую силу против конных и пеших людей копейщики чинят!

Две недели с утра до вечера обучали Герасима воинскому делу в Москве. Никуда из лагеря не пускали и, наконец, отправили с бо́льшим воинским обозом на ливонскую границу.

Когда Герасим, плотно усевшись в седле на своем коне и крепко сжав в правой руке копье, ехал по полям и лесам, он с гордостью чувствовал себя настоящим воином.

Скоро и он станет на рубеже и будет наравне с князьями, дворянами и боярскими детьми сторожить родную землю. Солнечные лучи, как ему казалось, светили ярче, чем всегда, зелень была свежее, птицы полевые и лесные громче обыкновенного перекликались веселыми песнями и щебетали, словно бы в честь его, засечника Герасима. Этот путь к ливонской границе явился для молодого воина радостным праздником, которого никогда не забудешь.

.....

Однажды утром царь Иван в своей государевой рабочей комнате, окна которой выходили к Москве-реке, разбирал вместе с Алексеем Адашевым, осадным головою Щелкаловым, боярскими детьми, дворянами и дьяками Поместного приказа дело о раздаче земель служилым малого чина.

— И буде такожде, — сказал Иван Васильевич, строгим взглядом оглядывая всех, — незнатный, худородный, коли он в службе способен и государю полезен, хотя бы и худородный дьяк, и уездный писец, и малый стрелецкий начальник, и незнатный сын боярский либо дворянин, пускай, кто бы он ни был, — сравнен станет окладом земли в равной доле с князем и боярином. Порухи от того государю не изойдет, а польза великая явится.

Присутствовавший здесь один из любимцев царя, боярин и храбрый воин, прославившийся своими подвигами под Казанью, Алексей Данилович Басманов, почтительно поднявшись с места и поклонившись царю, сказал:

— Великий государь и отец наш, Иван Васильевич! Мудростью воинскою твое царствование, будто солнцем, озарено. Знатность и богатство издревле в чести и холе. Твой глаз, государев, пронизает не только в верхнее оперение древа, но и в корни, сидящие в земле и невидимые иному глазу. И потому я, раб твой и слуга, яко многие подданные твои, чувствую и вижу то великое благо, кое несет нашему народу таковое верстание... Кому не ведом тяжкий труд губных старост, денно и ночью страдающих о порядке в твоём, государевом, царстве? Кто не знает городских прикащиков, берегу-

щих благосостояние воинства на рубежах? То ж самое скажу я и о засечных прикащиках. Кого не восхищает великий труд и искусство толмачей, — без них же ни порубежное, ни полевое воинство обходиться не может! И многие подобные малые чины, забытые в иное время, ныне твоею царскою мудростию, как обновленные маслом светильники, к службе возгорятся... Кто, кроме мудрого, украшенного любовью к воинству государя, позаботится у нас о малых сих?

Алексей Басманов, уже немолодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без заискивания, в лицо Ивана Васильевича.

Глядя на него, вдруг осмелели и другие дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычаев знатности и родословности, а людей меньшего рода не честит.

В этих речах, хотя и осторожных, слышалось все же недовольство боярскими порядками верстания землею служилых людей. Василий Грязной к тому же закончил свою речь словами: «Ты, государь, как Бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь!»

Иван Васильевич терпеливо выслушал пестрые, полные подбострастия слова созванных им на совет служилых людей. Однако сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что Дума создавалась прежними великими князьями из «стародавних честных родов» и многую пользу принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и храбрых, доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать «с государева доклада и со всех бояр приговору».

На совете были определены земельные оклады: дьякам, подьячим, губным старостам, городовым прикащикам, ключникам, осадным головам, засечным прикащикам. Больше всех царь назначил оклад толмачам — от ста пятидесяти до тысячи четей¹.

Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и «фарсовского»² языков Кучук Устакасимов, мало дать и тысячу четей земли. Иван Васильевич очень хвалил этого толмача.

Составлен был длинный список по земельному верстанию. Царь велел дьяку прочитать его во всеуслышание и затем спросил:

— Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело и не учинили ли обиды какой?

¹ Четъ — 1 1/2 десятины.

² Персидского.

Все, стоя и низко кланяясь, благодарили его за доброе внимание к себе.

После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москве-реке тихо плыла рыбацья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетал с жужжаньем шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным шелчком сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и стремглав полетел напрямик к Тайнинской башне.

Проводив его глазами, царь сел в кресло и, взяв список, стал внимательно читать только что записанное дьяком на бумаге.

VIII

Из дальних болот через Трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами, поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу — огороды, слободские строения, бревенчатые церкви, колодцы «журавлем»; на левом — Пушечный двор, Кузнецкая и Оружейная слободы.

Андрейка приблизился к Неглинке, чтоб попасть в Пушечный двор. Сюда послал его из Разряда дьяк Иван Юрьев.

Недолго стоял в раздумье на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел маленькую ладью с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня.

Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоколом, за ним видны главы храма Софии-Премудрости.

Андрейку окликнул угрюмый ворóтник¹ с копьем:

— Эй, вихрастый! Ходи сюда! Чей?

— Тож, что и ты, — государев.

— Перекрести харю!

Андрейка усердно помолился на храм.

— Кайся! Чего ради в слободу залез? Неровен час — и железá на мостолыжки... кузнецы рядом. — Ехидная улыбка мелькнула на заросшем, косматом лице ворóтника.

— Не спесивься, Афоня, не на того напал ноне! — огрызнулся, выпрямившись, Андрейка. — Сам царь-батюшка послал меня. Литцом да пушкарем буду. Во, гляди!

Андрейка вытащил из-за пазухи грамоту.

— Не умудрил Господь! — смиренно попятился изумленный смелостью парня ворóтник и копьё убрал с дороги.

— Веди в пушкарскую избу.

— Ладно. Шагай — лаптей не теряй.

Едкий дым стлался по земле. Защицало в горле и глазах.

¹ Ворóтник — сторож у ворот.

— Ого! Заслезило! — рассмеялся ворóтник. — Засопел?

Андрейка вытер рукавом глаза.

— Дух чижолый! — закашлялся.

— Э-эх, овечка! Вон гляди! Ямы... печи...

Пустырь. Ни травинки, ни кустика. Песок, трудно идти. Деревья голые, почерневшие. Место неровное: норы, бугры, камни, дрова... Кое-где смердит дым, а где и огонь вырывается. Оголенные до пояса, покрытые копотью, возятся около ям и бугров люди. И многие из них лопатами вскапывают и бросают в желоба темно-бурые куски болотной руды. Ни на землю, ни на глину не похожа.

— У-ух, дядя! Народа-то што! — невольно вырвалось у Андрейки. В сильном волнении он огляделся кругом.

Около ям кирпичные вышки. Рядом колеса, похожие на мельничные. На воротах канаты, перекинутые через перекладину.

Парень, вконец озадаченный, схватил за руку ворóтника.

— Куда привел?

— Иди, иди!

Чем дальше, тем труднее становилось дышать и труднее двигаться среди угля, железа и дров. Поднялся такой шум, что невозможно стало слышать голос соседа.

Солнце в этом чаду выглядело тусклым, желтым, словно блин, плоским кругом.

В пушкарской избе сидел немолодой угрюмый боярин, а около него — чудно одетый, не по-московски, безбородый иноземец.

Андрейка вручил боярину грамоту.

Боярин пристально осмотрел парня, неодобрительно покачал головой.

— Семейка! — крикнул он. — Дурень!

Из-за перегородки выскочил стрелец с бердышом. Задрал ба-рашковую шапку: татарское лицо, косоглазое, озабоченное.

— Возьми, — указал боярин на Андрейку. — Сдай Григорию... С государева двора-то.

Парню показалось, что боярин недружелюбно покосился на него.

Стрелец ткнул Андрейку кулаком в бок. (Ничего, парень «в теле».)

— Пластайся! Кланяйся! Боярин Телятьев!

Андрейка стал на колени, до земли поклонился боярину.

— Лезут к царю! — услышал он позади себя ворчливый голос Телятьева.

Вдоль высокого частокола, в щели которого видны разбросанные во множестве по пустырю пушки, Семейка повел Андрея.

— Отколь? — спросил он.

— С-под Нижнего... С Волги... Безродный.

— Царь-батюшка, стало быть, послал тебя?

— Сам царь-батюшка. Точно.

— Н-ну! — Семейка с удивлением оглядел Андрея. — Смелой ты. Не убоился?

— Струхнул малость... Да зря.

— Своими глазами так и видал его, батюшку?

— Своими. Как тебя. Зоркий! Крепкий!

Стрелец перекрестился.

Андрейка снисходительно посмотрел на него. Любопытство, с которым Семейка расспрашивал про царя, было ему забавно. Андрею было приятно, что его спрашивают про дворец, царя, беседу с ним.

Семейка вздохнул:

— Э-эх, кабы мне побывать у царя-батюшки! Я бы ему рассказал. Все бы до ниточки поведал бы.

— Али челобитье какое?

— Лютый народ объявился... И отколь они взялись?

— Про кого же ты? Кто такие?

— Ой, брат! Поживешь — сам увидишь. Боярин Телятьев — медведь, а около него — шакалы. Они хоть и маленькие, да кусаче медведя. У них не вырвешься. Гляди, они и медведя сожрут. Хуже бояр народ обьярмили.

— Ну! Про кого же ты?

— Обожди! Узнаешь. У нас так ведется, что изба веником метется. Говорю про дворян. В избе народ видел?

— Видел.

— Вот они и есть. И каждого сам царь посадил в слободу. Неродовиты, да сердиты! Возьми вон Грязного, Кускова, Курицына, Афанасия... Кто они? Иные просто казаками были, а иные из дворян. А этот Грязной — сущая коза в сарафане, Никита Елизаров — тож. Григорий Плещеев из холопов же... Испоместил их царь за Казань... Много их. Народу не легче от них.

— Пошто он на меня глазищи тарацил? Боярин-то?

— Постоянно так, когда сам царь присылает. Боярину то не по нутру... Впредь не лез! Того хуже едят. Чай, знаешь: жалует царь, да не жалует псарь. Испокон века так-то. Коли наверху похвалят, жди на низу горя...

— Пойми, дядя! Хочу пушкарем быть! Душа не терпит. Готов все снести, лишь пушкарем быть.

— Вона што! А Телятьев посылает тебя к плотникам да к дровосекам.

Андрейка притих. Зато стрелец, оглядевшись с опаской, молвил:

— И во всем у нас подобное: царь так, а бояре этак. Думаешь, царь не ведает?

Андрейка тоже огляделся кругом.

— Ведает, — прошептал он стрельцу в самое ухо. — Конюх под крестом клялся нам. Царь сам боится бояр. Весь народ в Москве будто про то знает. Но есть люди верные у него. Не выдадут.

Беседуя, не заметили они, что подошли к Неглинке. На реке несколько мельниц. Кузнецкий мост кишит народом. И под мостом на бревенчатых перекладинах сидят люди, поправляя мост. По берегу бегают малого роста человек в синем кафтане. Кричит, грозит дубиной.

— Вот он — Григорий Грязной, брат Василия Грязного... Не слышал ли? — тихо спросил стрелец. — К нему тебя послали.

Андрейка подумал: «Не тот ли, что на цыгана похож? Нет! Не тот!»

Увидев Андрея, Григорий Грязной закричал:

— Чего рот разинул?

Семейка рассказал все, что знал об Андрее.

Грязной сразу притих.

— Добро, братец, хватай топор... секи дрова. На воду тебя не пошло. Робь на суху. Дрова дубовые. Пушек для. Да не мельчи.

Андрейка поклонился, поднял с земли топор, на который ему указал Грязной, и, перекрестившись, начал работать.

Семейка опрומетью побежал обратно в Пушкарскую слободу.

Повыше Неглинки, на горе, бушевала огнями и железом Кузнецкая слобода. Дымили горны, мелькали молоты, кричали сотни людей.

К Андрею подошел плотничий староста.

— Видать, резвый!

— Такой я, какого Господь Бог народил... Не наша на то воля.

— У кого она ноне, воля-то? Живем и все чего-то ждем. Течем, как ручьи...

Андрейка поморщился. Не понравилась ему кислая речь старосты.

Он не выдержал и сказал:

— Ручьи падают в реку, а река, она большая, и конец ее в море укрывается, а море того больше. Не напрасно живем. Мыслью имеем. На то и родились мы, чтоб жить.

Староста вздохнул со смирнием. Андрейка подметил смущение на его лице: что — испугался?

Староста, видимо, хотел, как и многие другие, посудачить о теперешней жизни, повздыхать о былых временах.

— Не худо понимать! Што Бог велит, то и царь делает, — строго сказал Андрейка. Он повторил не раз слышанное им.

Староста удалился. Около моста мелькнула дубинка Грязного.

Андрейка недоволен был, что его послали не туда, куда он хотел. Он вернулся к литейным ямам. Тянуло в пушкарскую избу попросить боярина, чтобы его отослали к пушкарям.

Вот где жара! Одно — смотреть со стороны, другое — очутиться здесь, внутри. От жары и чада сперло дыхание. Пылали сотни огней в земляных печах, обжигая руду. По желобам медленно тянулась жидкая масса расплавленной бронзы. Обнаженные до пояса, красные от огня и загара, литцы то скрывались, то снова появлялись в клубах красновато-черного дыма. Остатки отработанной руды серыми, рябыми кучами загружали пустыри. Лазя по ним, Андрей увидел много мужиков, спросил, что делают. Оказалось, очищают мотыгами железную руду «от пустой породы». Рядом обжигали эту руду. Дальше из железной руды выплавлялся чугун. Чугун отливали в «штыки», или «свиньи», для дальнейшей обработки.

В стороне множество людей подносили к литейным ямам землю, другие просеивали ее, третьи таскали воду в кадушках, поливали землю, она шипела, дымилась белым паром. Тут же бугры песка, известки, глины.

Все это вызвало в Андрейке такое любопытство, что ему захотелось обо всем расспросить рабочих людей, но... он боялся, как бы от того не получилось худа для него.

Он старался не показываться на глаза, прячась за кучами железа и чугунных ядер, наваленных в соседстве с литейными ямами.

Он залюбовался ядрами, покрытыми серой пылью и копотью. Одни побольше, другие поменьше. Попробовал поднять: гладкие, увесистые.

Появились с носилками и тачками оголенные до пояса татары. С плетью в руке шел за ними длинноусый, морщинистый мурза. За кушаком у него блестел громадный серебряный кинжал. Татары стали накладывать ядра на носилки и относить их в сторону.

Андрейка счел за благо поскорее убраться с этого места.

На большой площади, недалеко от церкви, множество кузнецов опиливают уже отлитые пушки, сверлят дула и запалы.

Тут к Андрею подошел караульный стрелец, подозрительно осматривая его.

— Чего бродишь?

— Царем послан учиться пушечному литью.

— Царем? А чего понимаешь?

— Понимаю то, что понимаю... — ответил Андрейка, отвернувшись.

— Ого, да ты норовист! — Стрелец рассмеялся, но вдруг остановился, прислушался к продолжительному вою сигнальных рожков. В Пушкарской слободе поднялась суматоха.

Стрелец снял шапку, перекрестился.

— Неужто опять царь? — сорвался с места и побежал вдоль берега Неглинки к храму Софии-Премудрости.

Туда же беспорядочно бросилась бежать и толпа литцов, кузнецов и плотников. Недолго думая побежал за ними и Андрейка.

Ударили в колокол на вышке близ храма. Голубиные стаи взметнулись над слободой. Собаки подняли бешеный лай на побережье.

Забилось сердце от волнения у Андрея.

Около храма Софии уже толпился народ. Расчищая путь царскому выезду, впереди ехали верхами четверо стремянных стрельцов. У каждого из них на луке седла барабаны, видом в полушарье, в которое они и колотили что было мочи короткой деревянной палкой с набалдашником. Позади гарцевали четыре всадника татарской конницы с копьями в руках. А затем следовал царский возок, обитый зеленою тканью с золотыми узорами. Его тянули цугом шесть серых, в яблоках, лошадей. Поезд замыкали боярские дети верхами на вороных аргамаках.

Около храма Софии царский поезд остановился. Соскочившие с коней боярские дети открыли дверцу возка, став рядом по обе стороны пути, где царь должен был пройти в церковь. Выскочившие из церкви служки раскинули ковер по земле около возка, протянув его до самых церковных дверей.

Царя на паперти встретило духовенство.

Пробыв недолго внутри храма, Иван сошел в слободу, окруженный боярскими детьми и стрельцами. Сотники и дьяки, низко кланяясь, приблизились к царю. Он расспросил их о том, как у них идет работа.

На нем был простой зеленый кафтан, а на голове бархатная скутафья.

Он зашагал впереди всех, осматривая готовые, но еще не отделанные окончательно пушки. Тут только заметил Андрейка, что царь был едва не на целую голову выше всех окружавших его людей, — плечи высокие и широкая грудь. Руки и ноги громадные, — настоящий великан!

Подозвав к себе пленного шведа Петерсена, давно жившего в Москве и обрусевшего, царь, немного сутулясь, обратился к нему:

— В нынешние времена, — поведал мне один заморский гость, — огненное оружие льют не токмо из бронзы, но и из красной меди колокольной али из желтой меди да из олова... За крепчайшую и лучшую матьрь то почитают. И растапливают ее в печи, и очищают гораздо. Слыхал ли?

— Слыхать слыхал, но не видывал, твое государское величество... — ответил швед, низко поклонившись.

— И нам бы испробовать подобное. Вижу я из слов и писаний иноземцев, мудрые люди там, хитрецы великие... Но не перехитрить им моих людей! Обождите, скоро повезут и мне медь всякую. И то укрепит наш Пушечный двор, но...

Царь не досказал. Брови его сурово сдвинулись.

— Покуда Ливония не будет покорна Москве, заморская тор-

говля мало даст. От нас ждут многого. Скоро-скоро иссякнет божье терпение! И мое тоже.

Во время беседы царя с Петерсеном Андрейка протискался к царю, упал ему в ноги.

— Государь-батюшка! — только и успел он произнести, как на него набросились стрельцы, чтобы оттащить его. Боярские дети обнажили сабли. Татарская стража склонила копья.

Все замерли.

Царь сделал жест рукой, чтобы не трогали парня.

— Как смел ты, дерзкий, лезть к царю! Откуда дерзость твоя? — ткнул он его ногой в плечо.

Андрей со слезами в голосе воскликнул:

— Обманули тебя! Не пушкарь я, а дровосек!

— Безумный смерд! — и, подозвав Телятьева, сказал: — Накажи! Боярин велел взять Андрейку под стражу.

Опять увидел парень перед собою юркого Григория Грязного.

— Каиново племя! — грубо схватил он Андрейку.

Царь продолжал беседу со шведами. Он велел принести затинную пищаль, вылитую по новым чертежам. Долго любовался ослепительной гладью металла внутри ствола. После того внимательно осмотрел готовые пушки, затем простился со всеми и снова сел в возок. До самых ворот Пушечного двора провожала его толпа дворян и мастеров.

.....

Андрейку бросили в темный чулан, где полно было грязи, пауков и крыс. Он слышал, как трезвонили колокола, гудели дудки, провожая царя. Вот к чему снился в эту ночь колычевский сарай и медведь на цепи!

Теперь парень раскаивался, что полез к царю, да еще на людях. Могут ли понять его горе царь, бояре и дворяне? Они высоко: Андрейка кажется им букашкой, которую они в любое время могут раздавить. Бог знает, может, и он, Андрейка, коли получил бы такую власть, раздавил бы многих, а в первую очередь боярина Колычева и этого проклятого Гришку Грязного. Андрейке тоже было бы непонятно боярское горе... Но никогда бы он, Андрейка, не стал карать людей, кои хотят стать воинскими людьми. За что же их наказывать? Он бы, Андрейка, выслушал тех людей, и боярина Телятьева посадил бы в чулан, а не такого, как он, Андрейка. О, если бы он был царем! Он бы судил людей справедливо, по-божьи. Всякого, кто бы ему мешал, он убивал бы жестоко, без сожаления. Повинную голову с плеч долой. Царь должен быть добрым, справедливым, к народу милостивым.

Мысли о том, что хорошо бы стать большим господином, мелькали не только в голове Андрейки, и не только ему хотелось

творить суд и расправу на земле так, чтобы беднякам, тяглым людям, бобылям и всему народу было хорошо.

Десять лет назад в Москве были смутные дни. Малые посадские люди восстали на бояр Глинских, родичей матери царя, и на всех других вельмож, ища правды. Об этом прослышали и в бого-явленской вотчине. И нашелся один парень на селе, и звали его Капитонкой, который собрал людей и повел их, чтобы боярина Колычева порешить. Ладно, вовремя дядя ускакал в Нижний, а то бы несдобровать ему. После того Капитонка ушел в лес, а с ним людей два десятка с рогатинами и топорами. Чудной был Капитонка! Бывало, курицу не зарежет. Блажной на удивление, всех жалеет, всякую тварь. А тут, словно креста на нем не стало, начальных людей и знатных господ рубил безо всякой жалости. И много правдолюбцев в те поры в лесах развелось. Мужики их не боялись, а когда воевода изловил Капитонку и голову ему срубил, по всем деревням и селам плач был великий, будто помер родной отец, либо брат. Многие ведь мужики думали так же, как Капитонка.

Испугался и царь тогда; сказывали монахи — на площадь к народу выходил, будто даже сказал, что «от сего страх вниде в душу мою и трепет в кости мои». Царя-то никто и пальцем не трогал. Зря испугался.

Вспомнил Андрейка, как при встрече царь сказал ему, Герасиму и Охиме, чтобы они не помнили зла на Колычева. И теперь глубоко призадумался парень: кого же боится царь — народа или бояр? И почему-то ему подумалось, что народа он не боится, а боится бояр. Вот и теперь — за что разгневался на него, Андрейку? И тут показалось парню, что делает он это не ради гнева, а ради угождения окружавшим его начальникам. Какой же это царь?!

Всю ночь не спал парень, раздумывая, как бы людям добиться правды в государстве.

«Пошто томлюсь? — тянулось у него в мозгу. — Пошто держат меня в этом чертовом погребе, в этой паучьей берлоге? Да еще, гляди, батогами бить учнут. На съезжий двор поволокут, а там известно: либо кнутом, аль огнем, либо дыбой... Без молитвы, без покаяния богу душу отдашь! Обидно!»

.....

Утром Андрейку наказывали батогами; били так, что он до своего чулана, куда его снова ввергли, едва дошел. На съезжей он видел многих людей, которых били: кого батогами, кого кнутом, видел он и таких, которых привешивали за ноги к дыбе. Навсегда, кажется, останутся в памяти налитые кровью глаза, свесившиеся космы волос, синие ноги и руки, стоны. А эти проклятые черти тянули за руки несчастных книзу, к земле. Ах, как хотелось Андрейке в ту пору вскочить, убить наповал мучителей и снять с дыбы мужиков!

Так и решил: поведут его еще раз на съезжую, чтобы пороть, он выхватит саблю у стрельца и перебьет всех катов.

Вечером чулан снова отперли. Пришел десятский и объявил Андрейке, что получен приказ освободить его и отвести на обучение к свейскому мастеру.

Избитый, в синих рубцах, Андрейка послушно побрел за десятским.

— И что же вы со мной делаете? — сказал он дорогой. — И как же вам не грешно?

— Э-эх, куманек, живи себе молча, лучше будет, — усмехнулся десятский.

— Гляди сам. Живого места нет...

— Худо, братец, худо! Что делать.

Свейский мастер, которого все звали Ола, встретил приветливо. Он был хотя еще и не старый, но уже сед как лунь. Голубые глаза смотрели ласково. Андрейка ободрился, подошел к нему.

— С богом! Ходишь себе! Ничего! — сказал Ола.

Было у Петерсена под рукою несколько мужиков. Тоже молодые, сильные ребята.

Один спросил тихо Андрейку:

— Окрестили?

Андрейка не понял вопроса. Тогда тот же мужик сказал:

— Новичков всех так. Ты не один.

Андрейка сердито огрызнулся. Ему хотелось забыть о кнуте.

— Зашибленное заживет, а телячий хвост все одно языком не станет.

Швед начал усердно учить Андрейку литью и ковке пушек и ядер.

Все пушки осмотрели молодые пушкарки, а с ними и Андрейка.

Швед разделил орудия на полевые и мортиры. Первые он назвал «польными делами», вторые — «делами огненными».

Он рассказал, что пушки льют в нынешние времена большей частью из бронзы, но лучше было бы их лить из красной меди.

— Она крепче, лучше, — объяснил он молодым пушкарям, — но ее мешают завозить в Москву немецкие, шведские и польские пираты.

Далее он показал, как из глины делают формы, как их укрепляют железными обоймами, как формы смазывают салом и вкапывают в землю.

Ола Петерсен рассказал и о лигатурах, или составах металла, и о том, как испытывать состав, как пушку делить на части, о банниках из кожи и щетины, о железных кованых, о свинцовых и каменных ядрах и о многом другом.

Пушкарки внимательно слушали его.

Смешным показался им рассказ шведа о древних воинских ма-

хинах. Андрейка, смеясь, слушал про то, что древние пушки были овцам и козлам уподоблены, а назывались совсем чудно: катапультами, балистами и скорпионами. Стены каменные разбивали ими. А было то две тысячи лет назад. И придумали их греки. Махины те строились бревенчатые, громадные. Заряжались катапульти каменными ядрами, а иной раз бочками со змеями. Падая на землю, бочка разбивалась, и из нее расплзались змеи. Люди, защищавшие крепости, в испуге разбегались.

Швед показал на маленьких палочках, как строились те махины и как из них можно было палить.

Молодые пушкарки, слушавшие рассказ Ола Петерсена, в том числе и Андрейка, еще более смеялись, когда узнали, что вместо фитилей и пороха действовала воротяжка, на которую воины туго накручивали канаты из воловьих кишок. Стреляли из катапульти и балистов в неприятеля и всякою дохлятиною, вроде дохлых собак и кошек.

Пушкарки далее поняли из слов шведа, что то была война гишпанского короля с измаильским народом — арабами. Испанцы осаждали город Алхезирас, но арабы стали в них стрелять огнем из какой-то неведомой трубы, а из огня вылетало железное ядро и побивало испанцев. Они разбежались, думая, что с арабами заодно сам дьявол.

Веселый смех парней и бородатых слушателей заглушил слова шведа.

Петерсен, довольный тем, что его так внимательно слушают, сказал:

— Москофский человек... меня понимает... Дьявол, нечистый дух, — швед с насмешливой улыбкой плюнул, — нет, неправда! Огонь — селитра, мешай уголь, зажигай — и летит. Фот и фся чудиса! Фот и вся дьявол!

После того он показал Андрейке и другим пушкарям фальконет, привезенный по приказу царя боярским сыном Лыковым из Италии.

Петерсен укоризненно качал головой:

— Не то, не то... Э-т-та плохой пушка! Фи! Наш москофский лучше... — Он пригнулся, присвистнул, вытянул руку кверху, будто показывал, что вверх полетело ядро... — Паф! Паф! Паф!

Успокоившись, швед заговорил о менее понятных Андрейке вещах. Он говорил, что огненное оружие проверяется измерением, «математ-тикой».

— Не наугад! — замахал он руками, сморщившись. — Ни! Ни! Какой! Огненное оружие стреляет в пропорции длина и его крепость... К зарядению протиф ядра линей быфают... И подолги и покоротки фылиты. Не думай — доле пушка будет, доле и стреляет! Нет! Надо математик... Пушечное ядро должно фидеть перфо-

начально крепость... Пушку беречь надо, как... мать, жену, точь... Ядро, как солото... Язвин или дир не можно... Кнудом буду бить! Царю скажу!

Когда уже стемнело и все литцы, кузнецы и пушкарники разошлись, Петерсен отвел Андрейку в сторону и тихо, с улыбкой, сказал, что царь вспомнил о нем, Андрейке, и велел выпустить его из чулана, а ему, Петерсену, приказано быстрее обучить его пушкарскому делу...

IX

Среди деревянных хибарок Никольского прихода Андрейка без труда разыскал большой, о двух житях, каменный дом Печатного двора. Таких домов немного в Москве, разве только у самого Ивана Васильевича. Царь на что скуп, а тут не пожалел никаких денег для этой нечистой силы. А зачем и чего для — никак никто понять не мог. Диву давались люди: на кой леший Москве сия чудная хоромина! Поп Никольской церкви во хмелю расхрабрился и с амвона проклял «сатанинский чертог» да еще внушал богомольцам подальше от него быть и мимо пореже ходить. Митрополит Макарий сослал за это попа на Соловки.

Старец Вассиан Патрикеев и заволжские старцы тоже всяко поносили Печатный двор, хулили царя, который, мало того, устроил «справную палату» при Печатном дворе. Старые монастырские рукописные книги стали исправлять. Посягнули на вольную запись монахов.

Не нашлось охотников идти туда и на работу.

— Чур меня! Чур меня! — прошептал Андрейка, подойдя к дому. Большие деревянные ворота с кровлей. Постучал в них. Пока дожидался, заглянул через щели в частоколе на слюдяные оконницы в подклети. Они были плохо завешены. Залаяли псы, просунув морды в подворотню.

— Эй, кто-о-о? — лениво окликнул привратник.

— Государев человек с Пушечного двора.

— Пошто? Ай?

Андрейка постучал кулаком в тесину:

— Пусти! Не чванься!

— Эк-кай ты! Шайтан!

Ворота приоткрылись.

Старик-татарин с бердышом в руке укоризненно качал головой.

— Мир вам, добрые люди! — произнес приветливо Андрейка, проскочив в ворота.

— Э-эх, горох хоть и прыток, а опоздал — щи сварили.

Андрейка рассмеялся. Захихикал и старик.

— Кого тебе?

— Девка тут. С Нижнего града коя... Проведать бы.

Старик почесал лоб, как бы припоминая:

— Стал-быть, есть так. Есть. Обожди! Пойдем!

Опустив лезвие бердыша, татарин торопливыми шагами подвел парня к крыльцу. Андрейка трепетал: молиться или нет? Бесова хоромина! Не грешно ли?

— Н-ну! Чего же ты? Иди, ежели. Моя пошла.

Жутко стало. Не стерпел, прошептал молитвы. Забегали мурашки.

Поднявшись в сени, робко сунулся внутрь. «Батюшки! Бежать! Бежать обратно! Что же это такое?» — от страха ноги подкосились: изба не изба, церковь не церковь — не поймешь. Большущая палата, а в ней страшные, похожие на дыбу, ворота с тремя перекладинами, вертятся со скрипом громадные деревянные винты, а среди палаты многие узкие столы... Большие ящики какие-то на тех столах, а в ящиках клетушки; бородатые дядьки согнулись, шепчут про себя, будто колдуют над этими клетушками, перебирают пальцами что-то! И вот в самом углу Андрей увидел Охиму: сидит около столика, палкой мешает в ступе и тоже будто что-то шепчет.

Около каждого дядьки чернец... читает вслух что-то непонятное. Визг и скрип винтов, выкрики монахов — ой, жутко! Помяни, Господи, царя Давида!

Бородатые дядьки искося, сурово поглядели на Андрейку. «Чур, чур меня!» — зашептал парень. Такими страшными показались ему эти угрюмые бородачи.

Один из них поднялся, расправил руки, зевнул.

Андрейка в страхе напряженно следил за ним. Вот... обернулся — Владычица-Богородица! — пошел прямо на него, на Андрейку. «Свят, свят!.. Чур, чур!» Высокий, худой, в чернецкой рясе... Глаза прищурены.

— Добро, отрок, — услышал Андрейка тихий, ласковый голос, — чего для пожаловал к нам?

Глаза человечьи, голос незлобив, смирен.

Андрейка ободрился, ткнул пальцем в сторону Охимы:

— К ей пришел! К той!

Дядька рассмеялся.

— Обожди. Ахмет, отведи-ка его.

Привратник вывел его во двор и через заросли цепкого кустарника повел в глубину сада, в самый отдаленный его угол. Там среди листвы затерялась крохотная избенка. В нее-то и ввел парня старик.

— Сядь-ка тута. Обожди.

Оставшись один, Андрейка внимательно осмотрелся кругом.

Изба по-черному. Потолки в копоти. В оконце лезут разросшиеся лопухи и какие-то крупные желтые цветы. У глухой стены

койка, чисто опрaвленная. В углу икона. Парень усердно помолился. Здесь было тихо и прохладно. Не так, как на воле.

Все же одному сидеть было здесь боязно. Вот-вот в дверь вломится нечистая сила. Ведь недаром же на посадах такой слух идет! Чертоги и в самом деле ни на что не похожи. А бородатые дядьки — истые колдуны, и промысел их — колдовской, еретический. Охиму, видать, они уже околдовали, вещуньей ее, поди, сделали.

Андрейка пожалел, что не взял с собой топор либо дубину.

«Э-эх, не попусту люди дивуются на царя! — думал он. — И на кой понадобилась ему сия чудесня? Лучше бы кабак соорстил либо храм. Бояре за то осерчали на царя, — болтают в слободе, — а божи отцы, попы и монахи, дером дерут: «Сжечь бесову хоромину, да и только! Изобидел нас царь-государь. Сатану поселил во святом граде!» Ужели врут? Ужель напраслина? Ах, Господи, какая распутица в умах! Царь так, боярин этак, монах ни так ни этак! А черному люду и вовсе хуть ложись и помирай. Там — воевода, кнут, здесь — черти, бояре и дворяне, а на том свете и вовсе ад крошечный. Дуреха мордовка, чертовой кумой стала! Не убежать ли?»

Но только что Андрейка подошел к двери, как за спиной у него раздался ласковый голос Охимы:

— Андреюшко! Долго же не видать тебя. Уж и лето скоро минет, а ты... Чего же ты пятишься от меня?

— Да, — сказал парень дрожащим голосом. — Тебе нипочем, а мне... Ты — нехристь, тебе все одно... а я...

— Была такова, а ныне окрестили и меня, — вздохнула она.

Охима усадила Андрейку на скамью, сама села рядом, обняла его и весело рассмеялась:

— Да ты чего дрожишь? Дурень!

— Недобрая славушка про вашу избу... Ой, худа!

— Брешут на посаде... Не верь! Нивесть чего плетут.

Рассказала она, что знала сама о Печатном дворе. Царь Иван Васильевич гневается на писцов-монахов: пишут-де божественные книги с изъяном, путают: кое недописывают, кое переписывают, вписывают свое, что на ум взбредет и даже поперек государю; в церквах по-разному одну и ту же книгу читают, где как писана... Осерчал царь на писцовое бесчестие. И ныне в Москве книги будут не писаны, а печатаны. По вся места одинаково. Зачинатели сего дела — Иван Федоров, дякон от Николы, и при нем другой, Петр Тимофеев Мстиславец. Вот они-то и работают. Сам батюшка митрополит Макарий — защита у нас.

— А ты болтаешь про нечисть, — засмеялась Охима. — Убогие молеьшики не хотят работать тут. Царю неволя пришла брать в это место татар да мордву. Велика ли в том беда? И мы послужим.

— Чего же ты сама-то тут делаешь?

— Краску дроблю и варю, избу мою, прибираю.

— Краску? — удивленно разинул рот Андрейка. — А старики?
— Не! Не старики... — покачала головой Охима. — Молодые еще.
— Ладно. Бес с ними! Чего они?

— Набирают. Э-эх, малый! Все одно не поймешь. А коли знать хочешь, пойдем к хозяину. Он те растолкует. Поучись у него уму-разуму. Есть такие, ходят, любопытствуют. Мудрый он и богомольный.

Охима схватила Андрея за руку и повела его в печатную палату, подошла к Ивану Федорову и что-то ему сказала на ухо. Он обратился лицом к Андрею, поманил к себе. Парень набрался храбрости, приблизился.

— Видимое тут, — обвел рукою вокруг себя Федоров, — есть божия милость, его святая воля к просвещению нашего разума. Царь-государь, великий князь Иван Васильевич, умыслил изложить печатные книги, подобно греческим, венецийским, фригийским и иным государствам. А мы, смиренные слуги его, усердие приложили к тому, дабы постигнуть ту премудрость.

Федоров рассказал внимательно слушавшему его парню о том, как царь просил немецкого цесаря Карлуса о присылке ему мастеров печатного дела.

Немецкий Карлус уважил прошение царя Ивана Васильевича и выслал мастеров, но Ливония задержала их, не пустила в Москву. Царь сильно разгневался на ливонцев, как говорят ближние вельможи. Написал он о том же и дацкому каролусу Христиану. Тот отослал в Москву своего мастера Ивана Миссенгейма, но потребовал обращения русского народа в лютерскую веру. И когда царь узнал, что в Москве есть свои мастера, он зело возрадовался. Дацкого человека с почетом отослал обратно к Христиану, сказав, чтобы лютерскую веру король держал при себе.

Иван Федоров произнес это с самодовольной улыбкой и вынул из ящика с позолоченной крышкой грамоту царскую и прочитал ее Андрейке. Царь приказывал устроить дом «от своея царской казны, где бы печатному делу строится и нешадно дать от своих царских сокровищ делателям на благо печатному делу и их успокоению».

Царь писал:

«Надобно нам своим умом жить, ни англичким, ни свейским, а своим».

Чтение грамоты было громкое, напевное, торжественное. Все помощники Федорова перестали работать, стоя слушали грамоту и крестились.

Федоров взял под руку парня, подвел его к ящику с ячейками, наполненными крохотными чурочками, и, вынув из ячейки одну из этих чурочек, тоненьких, плотных, показал ее парню.

— Глянь! Бери!

Парень взял ее. Вырезанная фигурка. Залюбовался.

— То буквица, — с гордостью в выражении лица произнес Федоров. — «Веди!» А то — «како», а то — «пси». А всего того три десятка с девяткой. Се — дерево, а то — свинец.

Федоров показал другую буквицу, маленькую, но потяжелее первой. Андрейке так она понравилась, что он потряс ее на ладони, любуясь ею. Хотел попросить себе, да побоялся. Сам Иван Федоров, видимо, страшно дорожил этими буквицами. Он взял их из рук Андрея и положил обратно в ячейки. После того он, держа в левой руке небольшую деревянную коробочку, стал укладывать туда буквицы.

— От, глянь! Слово божие в ту пору слагаю. Кладу, что к чему надлежит. Из буквиц слепится: «Бог-Вседержитель». Чуешь?

— Чую.

Андрейка с изумлением смотрел на плотную свинцовую строку, которая будто бы говорила: Бог-Вседержитель.

Опять мутные мысли! Опять стало не по себе.

— Глянь! Се тягость — давилка именуемая. По обычаю, ее крутим.

К потолку от пола шли брусья, а на них перекладыны: две перекладыны пронизал толстый деревянный винт. Его, пыхтя, ворочали, а приделанная к нижней части винта доска насадала на лоток с набором буквиц, лежавший на столе.

Потом опять стали вертеть, но уже кверху; доска со скрипом снова поднялась, и Андрейка, к своему великому удивлению, увидел, что подложенная под доску бумага покрылась письменами.

На лице его вспыхнул румянец. Глаза заблестели. Куда девался и весь страх. Любопытство брало верх.

— Дай-ка мне! — сказал он, протягивая руку к листу. — Унесу с собой.

Федоров в ужасе замахал на него руками:

— Отхлынь! Што ты? Упаси бог! Царь-батюшка строго-настрога заказал! Никому ни единого листа! Здоровы у тебя ручищи!

Андрейка обиделся. Очень хотелось ему унести этот листок и показать пушкарям. То-то все диву дадутся! Так и шарахнутся в разные стороны, когда узнают, что то — из «бесовой хоромины».

Теперь уж у самого Андрейки явилась охота попугать нечистой силой товарищей, да и посмеяться над ними, а потом поведать им обо всем.

Долго еще водил по Печатному двору Иван Федоров Андрейку. Спускались и вниз, в подвал, смотрели словолитню, где было еще труднее дышать, чем у литейных ям. Душил едкий сизый туман, в глубине которого полыхали огни очагов.

Ивану Федорову было приятно удивлять парня.

— Ну, молодец! Уйдешь от нас, сказывай там, в Пушкарской,

мол, нет никакой нечистой силы на Печатном дворе. Святого Апостола там-де печатают. А кто клеветет, того побей. Эвона, какой ты! Бей без жалости! Царь-батюшка и то не гнушается нами. По ночам приходит к нам, милостью своей согрел всех нас, грешных. Змеиное лукавство недругов царских не щади, отрок! Буде имя Господне благословенно всегда, ныне и веки!

.....

Охима ждала в избе Андрейку. Раздобыла кувшин с брагой, поставила две сулеи. Поправила густые черные косы, надела еще две нити бус. Стала она сразу какая-то другая, как заметил Андрейка, непохожая на прежнюю. Он сказал ей об этом, она рассмеялась.

— Не скушлива ты, видать?

— Не! Не скушлива! — покачала она головой.

А сама наливает брагу: себе первой, ему потом.

Выпили.

— Ой, Охима, не узнаю тебя!

— Обожди, узнаешь... — рассмеялась.

— А што Алтыш скажет?

— Жив ли он? Не знаю. Алтыш хороший!

В дверь постучали. Открыла. Чернец — молодой, румяный, с русыми усиками и большими розовыми губами. Охима толкнула его в грудь и заперла дверь. Смешно было, как он, постояв немного, нерешительно поплелся среди крапивы, то и дело оглядываясь назад.

— Кто такой?

— Повадится овца не хуже козы. Докука!

— Ой, берегись, Охима!

— Не Охима, а Ольга! — Она весело рассмеялась.

— Чего же ты смеешься?

— Ольга я — для Печатного, а как мордовка была, так мордовкой и буду, а Богу вашему молиться не стану. Не надейтесь! Чам-Пас велик! Ваш Бог ему ни брат, ни холоп. Не хочет он его! Никак не хочет! Не скаль зубы. Чего скалишь? Вчера я видела нашу нижегородскую мордву, в царском войске много их... Никто против батькиной родной веры не хочет идти. На войну идти не боятся, — против батькиной веры ни за что!

— Ждешь, гляди, поджидаешь Алтыша?

— Коли и вернется — не будет Алтыш. И его, чать, окрестили либо в Алексея, либо в Ивана. Наша вера на огне не горит, на воде не тонет и на земле не сохнет. Крести не крести — батькиной вере не изменим. А наместник в Нижнем Лизаветой меня назвал. Не наша воля. Хлебни-ка лучше браги!

Она раскраснелась от волнения, наполнила брагой обе сулеи.

— А ты, Андрюша, все такой же, ясен, как солнышко, как звездочка, как серебряна деньга. О Герасиме и не думала я, и думать не

хочу. О тебе поминала. Сама не знаю с чего! Много людей в Москве, много шума, а ты наш, нижегородский. Одинешеньки мы с тобой на чужбине.

— Герасим тоже с наших мест.

— Дерево ты, а не человек. Сказала — не хочу Герасима! Русский Бог с ним! Мордовский Бог с тобой и со мной! Ай, как я ждала тебя! Какой ты хороший! Высотою ты с дуб, красотой с цветком. Люблю таких!

Она опять указала пальцем на сулею и звонко рассмеялась.

— Сулея моя говорит: возьми меня!

Андрейка, слегка захмелевший, затрясся от смеха, хотя самому было удивительно, отчего же он смеется, а главное: «возьми меня!» Их ты!

Андрейка от удовольствия потер ладони, и скромное слово у него сорвалось, ветлужское. Охима слегка шлепнула его по спине.

— Эти притчи я слыхала! Дорогой наслушалась! Попридержи язык! Дурень! Взгляни на небо — месяц... и звездочки...

Андрейка воскликнул ревниво:

— Тебе бы теперича Алтыша!

Охима отвернулась от него. Андрей смутился.

— Чадушко безумное — вот што!

— Любишь Алтыша? Я его убью! — тихо проворчал Андрей, нахмурившись.

— Ох-хо-хо! Какой удаленький!

Охима обернулась, посмотрела в лицо парню с ласковой улыбкой и обняла его.

— Зачем убивать? Пускай живет.

Андрей крепко сжал ее в своих руках. От запаха ее теплой, смуглой шеи у него закружилась голова. Пряди волос прикасались к лицу Андрейки, словно ласковое дуновение ветерка.

— Ласточка! Гляди на месяц. Будто мы с тобой одни в Москве. Никого нет. Токмо ты, девственница, я... да месяц!

— Алтыш пускай живет... — прошептала она.

— Пу-с-ка-ай! Чам-Пас с ним! Жи-вет... — шептал Андрей, сжимая еще крепче Охиму. — Зачем хорошему человеку умирать! Пускай живет!

— Тише, медведь! — подернула она плечами.

— Не сердись, око чистое, непорочное!

— Говори, говори, Андрейка! Я слушаю.

— Шестьдесят цариц на тебя не променяю.

— Говори, милый... говори! Я слушаю.

— Малинка, солнышком согретая!

— Гово-ри!

— Твои уста горячей теплой банюшки!

— Давно бы так! Разиня! Всю дорогу я ждала твоей ласки.

— Ах, господи! Что же я раньше! Не люблю я баб за это — никак не поймешь! Да и Герасим, дылда, мешал... бог с ним!

— Русский бог с ним! — смешливым шепотом повторила Охима. — А мордовский с нами. Чам-Пас хороший, добрый, он все прощает. Не как ваш. Ваш сердитый. Што ни сделай — все грех, все грех! Наш добрый. Не препятствует.

Охима поцеловала Андрейку.

— Ты да я! И месяца теперь не надо... Ни к чему! — бессвязно бормотал Андрей. — Аленький цветочек мой!

Браги в кувшине не осталось ни капли. Косой бледный луч осветил часть стола, на котором лежало монисто из серебряных монет, бусы и золоченые сулеи.

В окно видны только освещенные месяцем грушевидные главы Николы да высокие, оголенные ветрами березы...

.....

Однажды поздно вечером, когда Андрейка, крадучись, уходил от Охимы, из крапивы вдруг выскочила черная худая тень, испугав до смерти парня.

Приглядевшись, Андрейка узнал того самого чернеца, который заглядывал в хибарку к Охиме и затем исчезал.

— Ты чего как бес перед заутреней? — грозно спросил Андрейка.

— Добрый человек! — жалобным, каким-то противным голосом заговорил чернец. — Давно хочу сказать я тебе, христианская душа, не кланяйся красоте женской, не поддайся на красоту, не возведи на нее очей своих. Многие погибли красоты женской ради... Бежи от той красоты, яко Ной от потопа, яко Лот от Содома и Гоморры...

Андрейка размахнулся, — монах снова оказался в крапивнике.

— Знай, ворона, свои хоромы! — сердито проворчал Андрейка, перелезая через забор.

Чернец высунулся из крапивника и крикнул вслед парню:

— Ужо тебе! Вспоманешь меня! — И погрозил кулаком. Обернувшись лицом к жилищу Охимы, тихо, с тяжелым вздохом сказал: — Истинно рекут на посаде: «Девичий стыд токмо до порога, коль переступила, так и забыла!» Ох, ох, сколь греха кругом!

X

В 1508 году хитрый правитель и опытный полководец Ливонии магистр Вальтер фон Плеттенберг заключил с Москвою перемирие на пятьдесят лет. И Москве и Ливонии это было выгодно.

По договору немцы обязались выплачивать Москве ежегодную дань. Плеттенберг признал право России на некоторые земли и города, самовольно отторгнутые у нее Ливонией.

Договор бережно хранился в московском Кремле. Нередко Москва напоминала магистрам о долгах, но немцы не выказывали желания платить долги. Напротив, они всегда и везде старались причинять Москве вред.

Еще в 1539 году епископ дерптский сослал «неведомо куды», немца, пушечного мастера, хотевшего уехать на работу в Москву. А в 1549 году немец Иоганн Шлитте, оказавший некоторые услуги московскому правительству, был схвачен в Ливонии и посажен в тюрьму. Он вез с собой в Москву, с согласия германского императора, мастеров и ученых, пожелавших работать в России.

В паспорте, который был выдан Шлитте императором Карлом V, говорилось: «Мы благословили и дозволили упомянутому Иоганну Шлитте, по силе этого писания, во всей нашей империи и во всех наших наследственных княжествах, землях и волостях искать и приглашать разных лиц, как то: докторов, магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, золотых дел мастеров, плотников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить церкви, копачей колодцев, бумажных мастеров и лекарей, и заключать с ними условия для поездки к великому князю русскому ни от кого невозбранно, во уважение к просьбам, обращенным к нам и к нашим предшественникам отцом нынешнего великого князя, блаженной памяти великим князем Василием Ивановичем и нынешним великим князем».

Шлитте, однако, два года просидел в немецкой тюрьме, а на его письма германский император даже не ответил. Можно было думать, что германский император выдал эту грамоту «для вида», а тайне одобрил поступок ливонских немцев.

Только одному мастеру удалось вырваться из тюрьмы, да и того ливонцы схватили у самого российского рубежа и отрубили ему голову.

Глубоко огорчило все это в ту пору юного царя Ивана. Но, не желая ссориться с Ливонией, он ласково принял в 1550 году ливонских послов для возобновления истекшего сроком договора о перемирии.

Царь Иван согласился продолжить его еще на пять лет, имея желание за это время проверить твердость слова немцев. На приеме он помянул послам о разорении русских церквей в Ливонии, хотя, по прежнему договору, было дозволено России иметь их для приезжих русских купцов. Он потребовал, чтобы эти церкви немедленно были восстановлены и чтоб отныне немцы не мешали свободному сношению Москвы с заморскими тиранами. И почему дерптское епископство, исстари платившее великим князьям дань во Пскове, теперь не платит ее? Царь Иван настаивал, чтобы Дерпт возобновил свои платежи, ибо ливонские власти не должны забывать: Дерпт — русский город Юрьев, а не немецкий.

Послы уехали смущенные, растерянные, не зная, радоваться им или плакать. По приезде домой они передали требования царя епископу дерптскому Иодеку фон Рекке. Епископ был родом из Германии — вестфалец. Человек хитрый, ловкий, он сразу понял, что над Ливонией нависает гроза. Фон Рекке выступил с резким осуждением нравов Ордена. А немного спустя, изверившись в исправлении изнеженных, беспечных рыцарей и видя их раздоры, которые постоянно происходили между духовными и светскими властями в Ливонии, тайно заложил епископские владения и уехал обратно в Германию.

Ливонцы говорили:

«Наши деньги пошли в Вестфалию по суку и по воде: там им привольнее, чем дома. Там господа наши построили себе богатые дома, крытые черепицами, а прежде у них в нашей земле были дома, крытые соломой. Вестфалия обогатилась, а Ливония погибла».

Прошло время. Срок и нового договора истек.

В мае 1554 года в Москву опять приехали ливонские послы. В этот раз немцы предлагали заключить с ними мир на пятьдесят лет.

Их принимали глава Посольского приказа Алексей Адашев и дьяк Михайлов. Они напомнили послам о дани, которую не платит Дерпт.

Послы с таким видом, как будто об этом впервые идет речь, спросили:

— За что дань? Ни о какой дани мы ничего не знаем.

Адашев строго, с достоинством сказал:

— Ливонская земля — древняя вотчина великих князей, и немцы должны платить дань. Об этом вы должны знать.

— Ливония никогда не была покорена русскими, — удивленно пожали плечами послы. — Дань можно брать только победителям с побежденных, а известно, что немцы в прежние времена вели большие войны с русскими и мира такого не заключали. Они были независимы от русских, и в прежних мирных условиях никогда и не упоминалось о дани.

Тогда дьяк Михайлов развернул перед ними договор Плеттенберга с Иваном Третьим.

— Вот ваш договор. Здесь вы найдете то, о чем вы забыли. До сих пор государь, по своему долготерпению, ждал, что вы вспомните свои обещания. Но так как вы не хотите платить дань, то ныне государь не станет подписывать мира, пока вы не исполните крестного целования вашего и не выплатите своего долга за все года, что не платили.

Послы пали духом.

— Мы в старых наших писаниях не находим, чтобы великому князю платилась дань, и просим, чтоб все осталось по-старому, а перемирие продолжалось, — просительным голосом заявили они.

— Чудно вы говорите! — ответил Адашев. — Неужели в ваших немецких старых писаниях ничего нет о том, как ваши праотцы незваны-непрощены пришли из-за моря в Ливонию и заняли эту землю вероломно, силою, и много крови славянской пролили? Не желая большего кровопролития, прародители великого государя дозволили немцам на многие века жить в Ливонии, с тем, чтобы за то они платили дань. Неужели вам сие неведомо? Предки ваши в своем обещании были неисправны и не делали того, что следовало. Тогда вы должны за них исполнить их обещание, а если не дадите охотою, то государь возьмет дань сам, своею силою. Терпению его наступил конец.

Послы испугались, стали божиться, что ничего не знают о дани. Адашев с укоризной громко сказал:

— Так-то вы помните и соблюдаете то, что сами написали и своими печатями запечатали! Целые сто лет и больше прошло, а вы и не подумали о том и не постарались, чтобы потомки ваши с их детьми жили спокойно! Если же вы теперь все еще упорствуете, то мы вам напомним, что с каждого немца вам надо платить по гривне московской, или по десять денег в год.

Послы просили отсрочки в ответе, пока они не получат указа от своего правительства.

Адашев настаивал на немедленном заключении нового договора. Ливонские послы именно от этого-то и хотели избавиться. Но после решительных слов Адашева и Михайлова согласились.

Царь поручил новгородскому наместнику князю Дмитрию Палецкому подписать с ливонскими послами новый договор, не находя для себя достойным подписывать его собственноручно.

Снова возник вопрос о разоренных церквах и о притеснении русских купцов в Ливонии. Выплатой дани договор обязал один Дерпт с его волостью. Епископу надлежало в течение трех лет собрать дань по немецкой гривне со двора за все недоимочные годы и впредь выплачивать условленные деньги постоянно, каждый год. А буде того он не соблюдет, то сам гермейстер ливонский, архиепископ рижский, все епископы и немецкая власть обязаны принять на себя выплату дани.

Русским купцам предоставляется свободная торговля. Русскому человеку разрешалось ездить по какому угодно пути и в любую сторону сворачивать с дороги. Ливония обязана была пропускать всех едущих к царю и от него иностранцев. Чиновники не должны брать с них никаких пошлин за проезд. Немецким людям московское правительство позволяло беспрепятственно как въезжать в русскую землю, так и уезжать из нее.

Срок перемирия — пятнадцать лет.

Прошло всего лишь три года, а немцы уже снова дерзко нарушили все пункты договора.

Магистр Вильгельм Фюрстенберг, после кратковременной войны с Польшей, тайно заключил с королем польским и великим князем литовским Сигизмундом-Августом оборонительный и наступательный договор, направленный против Москвы.

Случилось это в сентябре 1557 года.

Царь Иван сильно разгневался на Ливонию, получив это известие.

Вместе с Анастасией он много молился в дворцовой церкви.

— Никто меня в иные времена не посрамлял и не обманывал так, как оные безумцы! — говорил царь жене гневным голосом. — Немцы услаждаются беззаконием, которое закует их же самих в цепи. С такую душой, что у правителей Ливонии, можно привести в шаткость любое царство и повергнуть в убогость любой народ.

.....

Стаи галок кружились над куполом Василия Блаженного.

В предвечерней синеве застыли длинные розовые гряды облаков, между ними остатки косматых, когтистых, темно-бурых кусков разорванной тучи. Гроза сошла; прохладнее стало и тише.

На кремлевской стене, близ Фроловской башни, прогуливаются царь Иван и ратман¹ Нарвы Иоахим Крумгаузен. Его царь сегодня не отпускает от себя ни на минуту, и хотя строго-настрого запретил допускать иноземцев не только на кремлевскую стену, но и близко к стенам, однако этого купца он сам тайно, чтобы никто не увидел царя вдвоем с простым немцем, привел сюда.

Крумгаузен считался крупнейшим негодьянцем. Вся Германия знала его, а в торговом городке Любеке он был первым человеком. Немало всего повидал он на своем веку. Долго жил в Москве, воспитывал даже здесь своих детей, точно так же, как и еще один близкий Ивану немецкий гость — Ганс Пеннедос. Через них Иван приобрел много друзей среди немецких и ганзейских купцов: Георга Либенгауера из Аугсбурга, Германа Биспинга из Мюнстера, Вейта Сенга из Нюрнберга, которому покровительствовал сам Альбрехт, герцог Баварский; были в связи с Иваном и крупнейшие прусские купцы — Герман Штальбрuder, Николай Пахер и многие другие.

Здесь, на кремлевской стене, обвеваемой приятным ветерком, врывающимся между каменных зубцов, Иоахим Крумгаузен, почтительно обернувшись лицом к Ивану Васильевичу и слегка наклонясь, тихо говорил:

— Великие государи всех стран бывают благодарны вседержителю, когда их народы сближаются торговыми добрыми делами. И, я так думаю, первую помехою тому ныне на Западном море —

¹ Ратман — правитель города (гражданский).

свейская гордыня, свейские пираты и покровитель оных, сам свейский сенег... а за ними Англия.

Иван пристально посмотрел на Крумгаузена. Лицо нарвского ратмана было печально. Царь говорил:

— Господу Богу угодно испытать мое терпение... Много обид видим мы от немцев. Крымцы, турки, и поляки, и ливонские магистры не радуют нас соседскими добродетелями. Явственные ласкатели на словах, они редко бывают причиной нашей радости. И нет среди них более лживого и коварного соседа, нежели ваши немцы. (Об Англии царь не сказал ни слова, как будто и не слышал упоминания о ней.)

Крумгаузен покачал головой в знак сочувствия.

— Великий государь! Многие убытки понесли от этого несогласия торговые люди немецких земель, желающие жить со всеми в мире, но более всех подвергает нас опасностям в Балтийском море все же английское и свейское соседство. Его величество Фердинанд, немецкий император, не внял роптанию иноземных государей и склонился на сторону любекских купцов, позволил нам ездить в твое государство и возить вам и серу, и железо, и медь, красную и зеленую, и свинец, но...

Иван нахмурился.

— Знаю. И про свейских правителей знаю. И они поживились от нас. Свейского короля Густава я наказал. Не он ли десять лет назад писал архиепископу рижскому, чтоб тот не пропускал в Москву иноземных людей, кои имели охоту послужить нашему государству? Не он ли поднимал Марию Английскую, датского короля, Польшу, Орден и всех латынян против меня? Но Мария написала мне о лиходействе Густава и прислала мне посланников дружбы. Густав вопил на весь мир, якобы настало время оттеснить наше государство к Уралу. Но я наказал его, отбил в Финляндии наши древние вотчины до Выборга. И послов его с перемирием не принял. Он торговал мясом, — пускай с Новгородом имеет дело, с моим воеводой. Недостойно царю с мясником на одну доску становиться. Карелия и Ингрия, то бишь Карельская и Ижорская земли, со всеми прилегающими к оным местами издревле принадлежат нам. То и сами свейские правители не могут отрицать. Тоже и немцы. В московских летописях издревле значатся города: Сыренск, ныне именуемый Нейшлосом, Юрьев, ныне носящий имя Дерпт, Кольвань, именуемый Ревелем, наш старый город Костер стал Олденторном, а Ругодив — Нарвой... и не я ли хочу иметь в Нарве свободное купечество? Немцы нам мешают повсеместно.

Царь повысил голос. Крумгаузен стих. Он хорошо запомнил историю с Шлитте. Он знал, что разговор этот неминуемо натолкнется на воспоминание о том печальном происшествии, которое

едва ли не главной причиною послужило к разногласиям между Москвой и Ливонией.

Иван взял Крумгаузена под руку, — доставив тем самым немцу величайшую честь, приведшую его в удивление, — и пошел вместе с ним вдоль по стене... На красивом молодом лице царя легли черты глубокой задумчивости. В такие минуты он выглядел старше своих лет. И вообще, как уже заметили многие иностранцы, Иван бывал «неровен до неузнаваемости».

Раздумывая об этом, Крумгаузен не заметил, как царь вдруг отошел от него к одной из крепостных пушек и стал со всех сторон осматривать ее.

— Честь и слава Аристотелю фрязину¹, — сказал, поглаживая пушку, Иван, — за совесть деду моему послужил... Кабы мне Бог послал такого! Великим розмыслом и зело нарочитым пушечником был. Честные руки, хотя и иноземец. Мы не охочи быть на поводу у иноземцев, но от благого не отказываемся.

На лице его появилась улыбка.

— Многое множество иноземцев, ваше царское величество, готовы стать на службу в Москве...

Царь пристально посмотрел на Крумгаузена. Видно было, что царь волнуется. Опять он дотронулся своею рукою до руки спутника.

— Многие почитают нас за прямоту и силу нашу, но многие ли прямят нам? Многие ли платят добром за доброту нашу? И слово свое держат, как держим мы? Про нас болтают за рубежом, будто глаза мы выкалываем иноземным розмыслом взамен благодарности. Пугают добрых людей, чтобы не ехали к нам...

Немного помолчав, царь продолжал:

— Пришел к нам на подворье молодой беглый... Покаялся и слово принес на своего владыку, на холопа нашего Кольчева. А ныне стал он мастер изрядный. Смышлен и остер. Ловчее многолетнего старца в пушечном деле, познал многие кузнечные и литейные диковины. И знаешь ли, у кого он научился?

Крумгаузен с любопытством спросил:

— Коли то не тайна, поведай, государь.

— У пленного шведа, взятого под Выборгом. Повелел я воеводам того шведа одарить щедро и к вере нашей не нудити, а пушкаря-мастера поставить десятником на Пушечном дворе. Мои враги — либо глупцы, либо воры-изменники. Друзья — разумные и честные, но не смелы, робки... Я помогу им быть смелыми, а они помогут мне побороть врагов. Есть и у нас свои люди, мастера превосходные. Дайте нам срок, а там... Бог не без милости!..

¹ Инженер и архитектор итальянец Фиоравенти, приехавший на службу в Москву в царствование Ивана III («фрязин» — означало итальянец).

СОДЕРЖАНИЕ

Книга I. МОСКВА В ПОХОДЕ

| | |
|------------------------|-----|
| Часть первая | 7 |
| Часть вторая | 123 |
| Часть третья | 238 |

Книга II. МОРЕ

| | |
|------------------------|-----|
| Часть первая | 383 |
| Часть вторая | 523 |
| Часть третья | 634 |

Книга III. НЕВСКАЯ ТВЕРДЫНЯ

| | |
|------------------------|-----|
| Часть первая | 775 |
| Часть вторая | 848 |
| Часть третья | 956 |

| | |
|-------------------------|------|
| <i>Эпилог</i> | 1048 |
|-------------------------|------|